



Сюгоро Ямамото



РАССКАЗЫ



**ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«НАУКА»**



*Сюгоро Ямамото*



**РАССКАЗЫ**

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА 1980

И(Яп)  
Я 54

Ответственный редактор  
и автор предисловия  
Т. П. ГРИГОРЬЕВА

Перевод с японского  
Б. В. РАСКИНА

### Ямамото Сюгоро

**Я54** Рассказы. Пер. с яп. Б. В. Раскина. Предисл.  
Т. П. Григорьевой. М., Главная редакция восточной  
литературы издательства «Наука», 1980.

182 с.

В рассказах известного японского писателя, согретых теплым юмором, мастерски, в реалистической манере раскрывается духовный мир простых людей современной Японии. Произведения Ямамото неоднократно экранизировались в Японии, в частности всемирно известный фильм «Под стук трамвайных колес» А. Куро-савы снят по публикуемому в этом сборнике рассказу «Бежит по нашей улице трамвай».

Я  $\frac{70304-002}{013(02)-80}$  203-79. 4703000000

И(Яп)

© Главная редакция восточной литературы  
издательства «Наука», 1980.

## РАССКАЗЫ СЮГОРО ЯМАМОТО

Писатель родился в провинции Яманаси в 1903 г. Его настоящее имя — Симидзу Сатому. Симидзу в переводе на русский значит «ключевая вода», чистая, незамутненная, родниковая вода; чистая — значит первозданная, без какой-либо примеси, бьет из самого нутра земли. Фамилия на сей раз отражает существо человека. А Сюгоро Ямамото — псевдоним: так звали его родственника, державшего небольшую лавку. Ямамото жил у него в юношеские годы и позаимствовал его имя. Позаимствовал не случайно. В чем-то он смотрел на мир его глазами.

Наверное, нужно было жить среди них, среди этих людей, стать своим или быть своим, чтобы разглядеть то, что не видно чужому глазу. Это как в одном из рассказов: приехали благотворительницы с лучшими намерениями, привезли подарки, а местные встретили их бранью, насмешками. А приехала своя, разбогатевшая, разбитная, которой ни до кого из них не было дела, — встретили с тихим почтением. Своя! Наверное, потому, что не искушалось лишней раз их человеческое самолюбие, которое и без того страдало постоянно и оттого было особенно уязвимым. Теперь же им ничего не предлагали и от них ничего не хотели. Как говорят, не ушжали их жалостью. Жалостью! Слово обрело в наше время некий оскорбительный смысл — должно быть, потому, что люди разучились жалеть. Жалость действительно унижает, если она не своя, если за ней стоит, пусть неосознанное, чувство превосходства. И нет ничего дороже жалости, если она своя, от сердца к сердцу, когда нет ощущения, что тебя жалеют, просто переживают, сопереживают, и от этого другому становится легче, будто кто-то взял на себя часть его груза.

Когда читаешь рассказы Сюгоро Ямамото, не сразу отдаешь себе отчет в том, что же трогает в них, трогает порой настолько, что мурашки пробегают по коже. Вот эта жалость и трогает. Он жалеет тех людей, о которых пишет, притом так жалеет, что сам этого не замечает, не думает, что жалеет, но не может не жалеть, потому что таков он

и таковы они. И те, о ком он печется, не чувствуют, что он их жалеет, и не могут почувствовать, потому что он — один из них. Эти люди для него не объект литературного описания, а участники его жизни; он — это они, а они — это он, и потому он ничего не выдумывает, ничего не привносит от себя. Между ним и его героями нет дистанции. Он живет в них, а они — в нем. Он, конечно, не такой, как они, и они почтительно называют его «сэнсэй» — «учитель», но они его признали и раскрылись ему, не видя в нем чужака, а он смотрит на мир их глазами. Он ничего от них не требует, ничего не предлагает. Нет и намек на поучение — «неладно живете, люди!». Он и не надеялся помочь. Есть лишь желание понять этих людей, и, может быть, не столько понять, сколько рассказать о них — вот так живут эти люди, эти «отбросы общества», свои у них страсти, свои заботы, своя жизнь. А посмотришь — те же люди, что и везде, только обстановка другая. Но, как говорил Конфуций, «все близко по природе, далеки по воспитанию». Иероглиф «си» можно перевести и как «воспитание» и как «привычка», «обычай» — «далеки по привычкам», т. е. изначально люди едины по своей человеческой природе, но, попадая в разные условия, они по-разному проявляют свои изначальные свойства или не проявляют их вовсе и бывают так мало похожи, что перестают понимать друг друга.

Здесь собраны рассказы двух сборников: «Рассказы голубой плоскодонки», который вышел в 1960 г., и «Улица без сезона», который появился двумя годами позже. Оба сборника поздние, вышли к концу жизни писателя (скончался он в 1967 г.), но события, которые в них разворачиваются, относятся к более раннему периоду, к концу 20-х годов. Писатель рассказал о том, что видел своими глазами: «Мои герои — это реальные люди, с которыми я жил бок о бок, слышал их смех, видел их горе и слезы. И когда писал о них, мне чудилось, будто я снова встретился с ними. Может быть, поэтому я испытываю к каждому из своих героев безграничную любовь и нежность».

Почему писатель вернулся к этим нелегким воспоминаниям после того, как уже стал знаменитым, преуспел в разных жанрах и снискал славу своими остросюжетными историческими повестями? (Вы могли видеть экранизацию одной из них — «Красная борода» — режиссера Акира Куросава.) Может быть, он чувствовал себя в долгу перед ними, перед этими людьми, среди которых он жил и которых не мог забыть.

Читая рассказы, можно без труда догадаться: это из сборника «Рассказы голубой плоскодонки», а это из «Улицы без сезона», настолько сильно местность накладывает свой отпечаток. Вода придает окраске рассказов, общему настрою неизбежную мягкость, а сухой асфальт «улицы без сезона» — столь же неизбежную жесткость.

Даже в японском пазвании «Улицы без сезона» ощущается эта жесткость — «Кисэцу но най мати». В общем, то, где есть вода, где события как-то связаны с рекой,— из «Рассказов голубой плоскодонки», а то, где нет воды и, пожалуй, всего того, что с нею связано,— из «Улицы без сезона».

Стоит только задуматься, что значит для японцев улица или любое другое место, где нет сезона, нет никаких признаков времени года. Сама постановка вопроса — «без сезона» или «отсутствие сезона» — страшна для японца, ассоциируется с абсолютным концом, ибо жизнь свою он веками соизмерял с временами года. Все в его жилище под стать сезону — убранство дома, цветы в вазе, сочетание, расположение предметов и общее настроение, поведение людей, весь уклад, ритм жизни. Их искусство, литература пронизаны ощущением времени года. Вспомните циклы антологии стихов «Манъёсю» (VIII в.): «Весенние песни — переклички (песни любви)», «Летние песни — переклички (песни любви)», «Осенние песни — переклички (песни любви)» и «Зимние песни — переклички (песни любви)». И этот порядок поэтических циклов по временам года — весны, лета, осени, зимы — перешел и в другие антологии. Люди воспринимали мир в ритме сменяющих друг друга четырех времен года. «Изначальным образом» назвал дзэнский поэт XIII в. Догэн свое стихотворение:

Цветы — весной,  
Кукушка — летом.  
Осенью — луна,  
Чистый и холодный снег —  
Зимой.

А в конце 60-х годов XX в. Кавабата Ясунари начал с них свою нобелевскую речь «Красотой Японии рожденный» и, повторив их во второй раз, сказал: «Если вы подумаете, что в стихотворении Догэна о красоте четырех времен года — весны, лета, осени, зимы — стертые, избитые, банальные, давно знакомые японцам образы природы, всего лишь безыскусно поставленные рядом,— думайте! Если вы скажете, что это и вовсе не стихи,— говорите!» Но как они похожи на предсмертное стихотворение старого Рёкана (1758—1831):

Что останется  
После мня?  
Цветы — весной,  
Кукушка — в горах,  
Осенью — листья клена.

В этом стихотворении, как и у Догэна, простейшие образы, простейшие слова незамысловато, даже подчеркнуто просто поставлены

рядом, но, чередуясь, они передают «сокровенную суть» Японии. Место, где отсутствует «сокровенная суть», должно внушать японцам ужас (примерно такой же, какой внушают привыкшим к движению европейцам часы без стрелок). Улица без сезона, часы без стрелок — правда, есть качественная разница, но то и другое олицетворяет мертвую точку, в общем, смерть, остановку жизни, пусть одни измеряют ее временами года, а другие — минутами или часами. «Нашу улицу населяет беднота, как говорится, голь перекатная, не имеющая постоянной работы. Это — рассадник преступлений. Кого здесь только не встретишь: бывших банкротов и взломщиков, бродяг, шулеров. Жители восточной стороны стараются даже случаем не заглядывать сюда, но не потому, что опасаются здешнего люда; скорее всего, наша улица и все мы, вместе взятые, кажемся им чуждым, неправдоподобным, а может, и вовсе не существующим миром.

Может быть улица без воды, без освещения, по улица без сезона — это улица отверженная, выброшенная из космоса, она не подчиняется космическому ритму, которому подчиняется все на этом свете, начиная от цветка, кончая галактикой.

«Улица наша начинается сразу за тощими дубами. Всего-то она насчитывает семь длинных барачков да пять полуразвалившихся домиков, на вид почти неотличимых от сараев. Домики поставлены беспорядочно: одни — прислонясь друг к другу крышами, другие — поодиночке, словно шарахаются в страхе прочь от соседей. А позади возвышается отвесная пятнадцатиметровая скала, на которой находится заросшее бамбуком и невидимое снизу кладбище храма Сэйгандзи. Огромная каменная скала всей своей массой нависла над нашей улицей, и притулившиеся к ней домишки кажутся поэтому еще более жалкими».

В той атмосфере, в которой живут эти люди, не распускаются лепестки человеческого счастья, не хватает для них питательных соков, и дерево высыхает на корню; в атмосфере грязи, нищеты, горя происходит самое страшное — человек теряет способность чувствовать. Доведенный голодом ли, горем до крайнего отчаяния, он становится бесчувственным, теряет способность радоваться, возмущаться. Он как тень, он становится ниже животного, которого выручают инстинкты. Человек, лишенный дара чувствовать, живет машинально, машинально делает что-то, чтобы что-то делать. Можно подумать, что это слабоумные, непорядочные, но это обыкновенные люди, только они не способны ни на жалость, ни на гнев, ни на добро, ни на зло. Даже близость, даже нежность любимой женщины не способна вернуть такого человека к жизни, потому что он «засохшее дерево». А засохшее дерево, сколько его ни поливай водой, сколько ни обогревай солнцем, не зацветет, и даже жалкий лепесток на нем не появится, если погиб-

ла корневая система. Вот так и в человеке: погибла корневая система — и ничем ему уже не поможешь. Он даже не слышит, не понимает, что когда-то близкая ему женщина зовет его с собой, и он лишь тупо смотрит, как она уходит, уходит навсегда, и принимается за свое привычное дело. Подобного рода анемия чувств может наступить вследствие любовного потрясения, измены, как в данном случае, в рассказе «Засохшее дерево». Измена любимого человека приводит в шокое состояние, а потом ведет к тихому оупению. Может быть, не столько измена сама по себе, сколько именно потрясение, грубое вторжение в привычную жизнь человека, надругательство над ним, над его чувствами. Неожиданно обрывается, может быть, единственная нить, которая привязывала его к этой случайной жизни и вселяла какую-то надежду. Когда она оборвалась, человек потерял всякую связь с миром, с которым можно быть связанным одной лишь любовью.

Психика человека — вещь тонкая, вывести ее из строя не так уж сложно. Одним взмахом топора можно подрубить корневую систему и загубить дерево. А можно постепенно, не давая питания. И душу человека можно загубить постепенно или одним ударом. Такой удар равносильен убийству, а может быть, и хуже, ибо то, что продолжает жить, уже не человек. Судите сами: у этих людей, героев рассказов, абсолютно оборваны связи с внешним миром, с другими людьми. И нельзя сказать, что они ушли в себя,— никто никуда не уходит, потому что нечему уходить. Происходит самое страшное — с исчезновением способности к чувству исчезает человеческое «я». Они могут машинально и аккуратно выполнять свое дело, но в их существовании есть нечто противоположное и опасное: ни одно существо не есть замкнутый в себе мир и его заблвание не может не затронуть других. То зло, которое одни причинили другим, к ним и возвращается. Тонких вещей касается писатель, той самой грани, где человек балансирует между бытием и небытием или между человеком и нечеловеком. Наверное, писатель не ставил перед собой далеко идущих задач, которые занимают ныне психологов и социологов, но он не случайно от рассказа к рассказу возвращается к этой теме. «Засохшее дерево» — это уже последняя стадия атрофии чувств или заболевания, которое можно назвать «обесчеловечиванием человека». Здесь уже ничего, кроме автоматки,— автоматические движения, автоматические действия. Когда это заболевание на ранней стадии, человек как-то сопротивляется и, чтобы удержаться на грани человеческого существования, придумывает себе другой мир, где все хорошо, где его любят, с ним считаются. Из реального мира он выбит какой-то грубой силой и не может и не хочет в него возвращаться (срабатывает инстинкт самосохранения).

Эти люди способны на тонкое чувство, на истинную привязанность; у них есть своя гордость, и они не умеют прощать. Оскорбленный в своих лучших чувствах механик (рассказ «Волосатый краб») после случившейся с ним беды — любимая женщина выставила его на посмешище — совсем отошел от людей и общался лишь с самим собой. Он спрятался от этой жуткой жизни в свой тихий уголок, где сам с собой разговаривал и играл в шахматы с невидимым противником. Это теперь его единственная забава и единственная отрада, и он не хочет от нее отказываться и возвращаться к прежней жизни, хотя любимая женщина раскаялась и ждет его. Но в нем уже оборвалась та единственная нить, которая привязывала его к этому миру.

Потребность в ином мире особенно остро ощущается в рассказе «Дом с бассейном». (Этот рассказ, как и многие другие вещи Сюгоро Ямамото, экранизирован.) Здесь контраст между жизнью реальной и вымышленной достигает предела. С одной стороны — потрясающая нищета: отец и сын, бездомные бродяги, живут в заброшенной лачуге, кормятся объедками. Отец оживает только тогда, когда начинает обсуждать с сыном планировку нового дома, несуществующего и несбыточного. Он видит этот дом наяву. Зато в реальной жизни он уже ни на что не способен, все человеческие чувства в нем притуплены, и даже любовь к сыну, единственной опоре, ушла куда-то далеко. Он ничего не сделал, чтобы спасти умирающего ребенка, и лишь продолжал воодушевленно описывать ему обстановку несуществующей гостиной. Автора настолько страшит это равнодушие к умирающему ребенку, что он нарушает свою бесстрастную манеру и ввязывается в разговор: «Эй, кончай-ка свои рассуждения, бери мальчика на руки — и скорее к врачу! О плате за лечение не думай — отдашь как-нибудь потом. Немедленно к врачу! Нельзя оставлять ребенка в таком состоянии в грязной лачуге, на голой земле. Его надо сейчас же доставить в больницу, иначе конец! Послушай, неужели ты все еще не понимаешь? Скорее — не то будет поздно...— Отец лениво поднимается с ящика и долго зеваает».

А может быть, это не автор, может быть, герой сам с собой разговаривает, может быть, это слабый, еле слышный голос давно подавленной чуткости? Но отец не жесток и не черств, он просто совершенно беспомощен. Он не способен чего-то добиваться, не способен действовать даже тогда, когда знает, что, если он не будет действовать, сын умрет. Но это не жестокость, не черствость, это что-то другое — это страх перед жизнью. Это полное опустошение, отсутствие воли к сопротивлению, отсутствие инстинкта жизни. Автор не хочет сказать, что это худшие из худших, наоборот, они не могут жить так, как те забяки с «пьяной» улицы, но они настолько загнаны, забыты, что боятся всего, боятся с этой жизнью оказаться с глаза на глаз. Стари-

ка страшит сама мысль о том, что что-то нужно предпринять, чтобы спасти сына, он лучше ляжет и тихо умрет вместе с ним.

И на могилу сына он ходит тайком не потому, что страдает (страдать он уже не может), а потому, что хочет продолжить разговор о новом доме, продлить ту радость преображения, которую он испытывал, когда рисовал сыну картины своей несбыточной мечты. А мальчуган, который понимал, как оступевшему от голода отцу нужна эта затея, подыгрывал ему, а может быть, и сам радовался вместе с ним, потому что иной радости у них не было. А может быть, отец верил, что сын его слышит, и хотел доставить ему радость?

Так или иначе, настоящая жизнь для этих людей проходит не на этой земле, не на этой улице, где нет для них места, а как бы в отраженном мире, мире воображения. Притом они верят в реальность своего выдуманного мира и живут ради него. Верят настолько, что по своему бывают счастливы, когда попадают в этот вымышленный мир, как счастлив Року-тян, когда водит свой несуществующий трамвай. Он делает это по всем правилам, со всей тщательностью и с такой любовью, что ему позавидовал бы профессиональный водитель. Те-то не любят своего дела и тяготятся им, а он душой и телом предан своему трамваю.

У одних — потребность в любви, чистой, настоящей, в любимом человеке, у других — потребность в любимом деле, чистом, настоящем. И то и другое сбывается лишь в воображении, в мире фантазии, где все получается так, как хочется, где ничто и никто никому не мешает.

Року — мальчик как мальчик. С его точки зрения, болен не он, а матушка, которая постоянно над ним хлопочет, хотя он совершенно здоров, и, жалая мать, он просит будду о ее исцелении. И все же он ненормален, потому что не считается с тем, что есть на самом деле, и живет в том мире, которого нет. А может быть, он есть, этот мир, если Року переживает его так ощутимо, видит свой трамвай, идущий по несуществующим рельсам, и даже тех зевак, которые перебегают дорогу? И разве Року не счастлив, хотя местные мальчишки и дразнят его «грамвайным дурачком»? Но он-то знает, что они просто ничего не понимают в его деле и не видят то, что видит он.

У японцев эта способность ощущать реальность нереального развивалась с давних пор, может быть с тех самых, как полюбились им притчи даосского мудреца Чжуан-цзы (IV в. до н. э.). Притчи такого рода:

«Однажды Чжуан Чжоу приснилось, что он — бабочка, весело порхающая бабочка. Он от души радовался и забыл, что он Чжоу. А проснувшись, удивился, что он Чжоу, и не мог понять: снилось ли Чжоу, что он бабочка, или бабочке снится, что она Чжоу».

Писатель не склонен к риторике, хотя иногда и вмешивается в разговор, дает советы (когда нет другого выхода), и все же в этом рассказе — «Бежит по нашей улице трамвай» — он размышляет вслух: «Детишки, играющие на пустыре, не обращают на Року-тяна никакого внимания. Не оборачиваются в его сторону и старики со старухами, которые здесь, на пустыре, вечно что-то разбирают, сушат и складывают. Для них Року-тян просто не существует, как не существуют и все остальные люди с восточной стороны канавы. Да и что в этом особенного: разве в обыденной нашей жизни мы постоянно не сталкиваемся с подобными же вещами? На людных улицах, в театрах, кино, в учреждениях каждый из нас реально осознает существование другого человека после того лишь, как он вступает с нами в непосредственный контакт, а во всех остальных случаях мы, находясь друг с другом рядом, разобщены, словно выходцы из разных миров, и как бы не существуем в едином пространстве и времени». Не в том ли причина несчастий, одинокости людей, что каждый сам по себе, все друг другу чужие — прерваны естественные связи?

Немало и жестокости, отчаянной злобы порождает эта «улица без сезона», мир, отпавший от космоса. Однако и самый последний из ее обитателей может опомниться, как в рассказе «Уточка». Одичавший, ожесточившийся человек истязал свою ни в чем не повинную жену, истязал до тех пор, пока не изувечил ее, сломав ей ногу. И только в тот миг, когда, собрав последние силы, она взмолилась: «Не убивайте!» — он вдруг ощутил, он пережил весь ужас им сотворенного и всю безмерную глубину ее страданий. В этот миг в нем проснулась жалость и вместе с ней проснулся человек. Внезапно мог погаснуть человек и так же внезапно мог пробудиться, если не подрублена под корень его душа.

И все же как ни горек вкус рассказов, как ни безотраднa жизнь тех, кто живет на «улице без сезона», нет в них отчаяния и безнадежности, я бы сказала, есть в них привкус ваби. Так японцы издавна называют красоту грубоватую, неброскую, красоту простоты, даже бедности. В скромности, незаметности есть своя привлекательность. Японцы умеют ценить красоту яркую, броскую, в полном цвету — как цветение бледно-розовой сакуры. Но это красота хрупкая, мимолетная, преходящая. И умеют ценить красоту неброскую, скрытую, спокойную — непреходящую. Ваби, говорят японцы, — это одинокая хижина рыбака на пустынном берегу или первые фиалки, пробивающиеся сквозь толщу снега. Вот что такое ваби — красота чистой, незамутненной родниковой воды, бьющей из нутра земли.

Я думаю, читатель согласится — здесь нет натяжки. Писатель где-то любит своих героями, не всеми, конечно, но почти всеми, по крайней мере такими, как Року-тян, капитан Кояма, о котором пой-

дет речь. В каждом из них он находит какую-то свою искру. И ему, видимо, по душе, что они не похожи на других, нечудаков. Он, наверное, любит глубоко скрытой красотой их души, этих необычных, полудичавших людей, в которых сохранились чистота и первозданность. Ваби близко тому, что говорит о жителях улицы сам писатель: «На этой улице человек и жизнь существуют в их „изначальной форме”. Эти люди живут в нищете и невежестве, выполняя свою поденную работу. Но здесь таятся неисчерпаемые силы».

Это ваби в большей степени ощущается в «Рассказах голубой плоскодонки», по-японски «Аобэка-моногатари». «Аобэка» — значит «голубая плоскодонка», а «моногатари» — рассказ о чем-то. Так японцы называли свои первые повести IX в. и так называют последние, XX в. Это повести о том, что кто-то видел и слышал. Так что «Аобэка-моногатари» — это то, что позволила увидеть голубая плоскодонка. Писатель, или «сэнсэй», действительно купил лодку у местного старика, все так и было, как в рассказе «Как я купил голубую плоскодонку». И он плывал на ней по реке и к морю, удил рыбу и вел записи. В прибрежном городишке Уракасу, который стоит на канале, соединяющем реку Нэтогава с морем, Сюгоро Ямамото прожил около трех лет. Жители здесь занимаются рыбной ловлей, сбором ракушек и водорослей. Есть у них своя фабрика, свои рестораны и харчевни — все, как описано в рассказах. Там писатель и встретился с капитаном Кояма (рассказ «Ночь в камышах»). Странным был человеком этот капитан, отказался от всех благ цивилизованного общества, от родных и близких и перебрался жить на списанное судно, которое держал в полном порядке. А оказывается — ничего странного. Это не прихоть и не дурачество. Были у капитана свои серьезные причины. Он перебрался на списанное судно, чтобы не разлучаться с той, которую продолжал любить и после ее смерти. Для писателя в этом нет ничего удивительного, он прекрасно понимал чувства своего героя.

Сюгоро Ямамото жалел тех людей, о которых писал; но правильнее было бы сказать, он их любил, и потому те, которые стороннему взгляду показались бы ненормальными, у него — люди необычные, тонченные, способные ощущать то, что не способны ощущать более грубые натуры.

Капитан Кояма ради любви отказался от всех сомнительных удобств и сомнительных благ и живет только своей любовью и счастлив ею. Любовь на расстоянии, в мечтах оказывается прочнее, чем любовь в реальной жизни. Это чистая любовь, без примеси, как родниковая вода, — ничто ей не помеха. Это то, что могло бы быть, но почти не бывает. Но это настоящая любовь, та, что не проходит. Такой любви и смерть не преграда. Более того, в жизни влюбленные были разлучены и виделись лишь издали, а после смерти как бы соединились.

Теперь она принадлежит только ему, и он беседует с ней по вечерам и ощущает ее присутствие. Правда, японцам, которые веками воспитывались в духе синтоизма, легче себе представить, что умершая живет где-то рядом и по-своему продолжает земную жизнь. А может быть, это просто любовь, которая не знает границ пространства и времени?

Кто-то из японских критиков назвал рассказы Сюгоро Ямамото жемчужинами. Наверное, жемчужины, которые остаются в раковине, в своей естественной среде, и блестят своим естественным блеском.

*Т. Григорьева*

## Ночь в камышах

Дело было, кажется, в сентябре — точно не помню. Я плыл на своей плоскодонке по протоке, которая вывела меня к восточному побережью. Где-то я писал уже, что на этом побережье хороший морской пляж, а сама протока — отменное место для ловли «гокая» — лучшая, по-моему, наживка для удочки. Водится он на песчаных отмелях, в мелкой воде. Говорят, будто он пять раз в месяц выбирается из песка и уходит в море. Отсюда и прозвание его — «гокай»<sup>1</sup>, а как по-научному его называют, не знаю. Исход «гокая» начинался близко к полуночи, и рыбаки к этому времени уже ожидают его, поставив ловушки — широкие полутораметровые мешки из хлопчатки, куда он и попадает, не дойдя до моря.

В первую поездку свою к восточному побережью я и не думал вовсе о ловле живца. Просто я слышал, что там, среди камышовых плантаций, хорошо клюет рыба. Кое-кому покажется странным слово «плантация», но там и в самом деле на больших пространствах, примыкавших к кромке чистой воды, выращивали камыш. Камыш на разных делянках различался и по толщине стебля, и по цвету листьев — каждый сорт предназначался для особой цели. Выращивали камыш едва ли не так же, как растят рис и пшеницу, до поздней осени, а потом убирали отдельно, по участкам. Зимой же здесь, в камышах, было прекрасное место для охоты на водоплавающую дичь. А в узких протоках, пересекавших камышовые заросли, водилась уйма рыбы.

Я загнал лодку в одну из проток, которая показалась мне подходящей, и закинул леску. Богатый ли выдался в тот раз улов, или, быть может, одна-единственная рыбешка прельстилась моей приманкой — на этот счет мой дневник безмолвствует. Важнее другое: странствуя вдоль протоки в по-

---

<sup>1</sup> В переводе с японского означает «пять раз».

исках «счастливого» места, я набрел в конце концов на списанный пароход № 17 и встретился с капитаном Коямой. Как сейчас помню, кто-то окликнул меня, я обернулся и шагах в двадцати за спиной у себя увидел посреди камышей белоснежный пароход. На корме его стоял худощавый старик.

— Там никакого клева не будет,— сказал старик сиплым моряцким голосом.— Забирайтесь-ка лучше на палубу — отсюда удить сподручней.

Растерявшись, я пробормотал что-то в ответ и воззрился на старика и его пароход.

Должно быть, протока здесь кончалась: дальше виднелся поросший соснами склон. Судно было припвартовано носом к берегу. Там было, наверно, совсем неглубоко, и потому палуба кренилась к корме. На глаз невозможно было определить возраст торчавшего на палубе долговязого, тощего старика. Как и положено капитану, он носил форменный китель — правда, изрядно поношенный — с двумя рядами пуговиц и фуражку с «крабом». Но там, где кончился китель, капитан был гол, вернее, в одних лишь ветхих трусах какого-то рыжеватого цвета. На обветренном, темном лице с впалыми щеками и ввалившимися глазами выделялся мощный подбородок; пепельно-серые брови сошлись у переносицы, словно старались укрыть глаза от слишком яркого света.

Старику скорее всего просто хотелось поболтать. Но мне и сам этот списанный рейсовый пароход в зарослях камыша, и присутствие на нем старика показались настолько переальными, что я совершенно растерялся, пробормотал, мол приеду еще, и быстро ретировался.

Прошло несколько дней. Однажды вечером, греясь у очага в доме моего давнего знакомого Такасины, я завел разговор о странной встрече со стариком на корабле.

— Знаю, знаю, это капитан Кояма,— улыбаясь, сказал Такасины.— У него, представляете, и сын есть, и дочь замужняя. А он вот живет бобылем. Чудной старик. Нелюдим.

Капитан Кояма, оказывается, прослужил в Восточном пароходстве лет сорок с лишком. Подростком еще нанялся он на пароход юнгой, потом стал матросом, механиком и, наконец, дослужился до капитана. За все годы у него не было ни единой аварии, его всегда ставили в пример другим и не раз награждали за безупречную службу. Когда пришел срок уходить на пенсию, Кояма не захотел покидать пароход и еще пять лет крутил колесо штурвала.

Здесь, я думаю, стоит сделать небольшое отступление и рассказать о капитане Буле. Капитан Хакии, по прозвищу Буль, плавал на принадлежавшем Восточному пароходству тридцать шестом и, хотя все сроки его ухода на пенсию давно вышли, ни за что не желал списываться на берег. Он был очень тучен. При ходьбе все тело его колыхалось и складки жира на груди, словно волны, бежали в одну сторону, а на животе — в другую. Отталкивающее было зрелище, когда он шел, едва переставляя ноги. Наверное, он и сам понимал это и передвигался лишь в самых крайних случаях. Веки его набрякли, отяжелели и с трудом поднимались, приоткрывая щелочки глаз. Под подбородком у него висела огромная складка, так что он с трудом поворачивал голову. За внешность его и прозвали Буль<sup>2</sup>. И кличка эта оказалась настолько точна, что люди, дразня его Булем, почти не испытывали при этом удовольствия. Сам капитан Буль на расстоянии двадцати метров уже не в силах был ничего разглядеть, и потому матрос по имени Томэ всегда стоял на носу и, отчаянно жестикулируя, кричал: «Прямо!», «Право руля!», «Так держать!» или «Задний ход!», а капитан в соответствии с этим крутил штурвал и отдавал приказы механику. Матрос Томэ, который, по общему мнению, был слегка чокнутый, очень гордился своими обязанностями и обычно, пропустив стаканчик, с важностью утверждал:

— Знайте, без меня тридцать шестой давно бы лежал на дне.

А вспомнил я капитана Буля потому, что и Кояма точно так же не соглашался никак уйти в отставку. И однажды, когда ему в который уж раз предложили весьма круглую сумму, лишь бы отправить его на покой, Кояма сказал: «Денег мне ваших не надо, отдайте семнадцатый, и я на все согласнусь!»

Семнадцатый к тому времени был давно уже списан и стоял на приколе близ Токуюки. А так как охотников приобрести его даже по дешевке не находилось, условие капитана Коямы было охотно принято. По его просьбе пароход отбуксировали к восточному побережью, и капитан пришвартовал его к берегу, под соснами, в том самом месте, где он находился по сей день. Так началась уединенная жизнь Коямы на семнадцатом. Как я говорил уже, у капитана были и сын и дочь. Сын, служащий торговой компании, получал приличное

---

<sup>2</sup> Бык (англ.).

жалованье, дочь вышла замуж за состоятельного торговца и, уж само собой, ни в чем не испытывала нужды. Дети не раз выражали желание взять отца к себе. Кояма давно овдовел, и сыну с дочерью было совестно перед людьми оставлять отца в таком положении. Но Кояма всякий раз отказывался покинуть семнадцатый. Как говорили местные жители, он походил на раковину фудзицубо, намертво присосавшуюся к скале. Так ли, этак ли, но детям оставалось лишь успокаивать голос совести ежемесячными денежными переводами.

В иностранных романах не раз и не два читал я о том, сколь сильна романтическая привязанность моряка к своему кораблю, и я, признаюсь, был растроган историей Коямы и упорством капитана Буля, который доныне не выпускает из рук штурвала, вперив в морскую даль свой невидящий взор.

— Наверное, старик Кояма всю жизнь проплавал на семнадцатом? — волнуясь, спросил я.

— Да нет, — спокойно ответил Такасина, — года четыре, от силы пять, когда служил матросом. Семнадцатый ведь раньше был пассажирским колесным пароходом, потом его переделали в доке под перевозку грузов, и до самого конца он ходил в сухогрузах.

Признаться, такой ответ несколько меня обескуражил. Ведь если Такасина говорил правду, вся эта история утрачивала свою романтическую прелесть.

— Но почему же тогда, — не отступался я, — капитан Кояма живет отшельником здесь, в камышах?

— Как вам сказать, — задумчиво произнес Такасина. Он выколотил трубку о край очага, снова набил ее табаком и раскурил. — Разное говорят, но толком никто ничего не знает. Станный он какой-то, этот ваш капитан.

Как-то потом уже, поздней осенью, мне довелось провести целую ночь наедине с капитаном Коямой.

Правда, еще до этой памятной ночи я раза два или три подплывал на своей плоскодонке к пароходу, подолгу болтал с капитаном и даже поднимался на палубу. Судя по всему, большую часть дня Кояма занимался уборкой. Он драил палубу и протирал машину. Белый корпус судна всегда был девственно чист, словно только что из покраски. На овальной доске на корме четко виднелась обрамленная замысловатыми голубыми виньетками надпись: «Восточное пароходство. № 17». Паровые котлы сверкали и лоснились от смазки, словно их только что доставили с завода, капитанский мостик сиял чистотой, все деревянные части и штурвал отливали ма-

товым светло-коричневым блеском, а медный колокол машинного телеграфа и привязанная к билу бечева выглядели по-вехонькими. Все это никак не вязалось с рассказом Такасины, и я решил для верности узнать у самого Коямы, как долго он плавал на семнадцатом. Капитан поскреб затылок козырьком фуражки и сиплым голосом произнес:

— Н-да... годика четыре отплавал. Точнее не вспомню, но года четыре с гаком будет.

«Выходит, Такасина прав,— подумал я,— и никакой он особой привязанности к семнадцатому питать не должен...»

Был лунный и безветренный, по довольно холодный вечер — как-никак середина октября, — когда мой друг Кура из рыбацкой харчевни «Сэмбон» пригласил меня на ловлю живца, и мы отправились к восточному побережью. Где-то уже около десяти вечера наши лодки подошли к мелководью у самого устья протоки. Как раз начинался отлив, и из-под воды проглянули две песчаные отмели, там мигало уже десятка полтора фонарей — это опередившие нас рыбаки ставили ловушки. Я остановил свою плоскодонку и начал глядеть, как Кура ловко изогнул длинные спицы, отчего отверстие мешка приняло квадратную форму, и воткнул их концами в песок так, чтобы нижний край мешка вплотную прижался к песку. Теперь живец, направлявшийся к морю, сам собой попадал в ловушку. Не переставая работать руками, Кура, заикаясь и растягивая слова — он с детства был косноязычен, — объяснял мне нехитрое устройство ловушки. Вдруг, едва он умолк, кто-то окликнул меня, словно только и ждал, когда Кура закончит свои пояснения.

Я оглянулся. На другой стороне отмели, размахивая фонарем, стоял капитан Кояма.

— Живца промышляете? — спросил капитан. Он приподнял до груди увесистый мешок и просипел: — Нынче ночью раньше обычного к морю пошел. Вон какой взял улов, собираюсь уже восвояси. — Потом дружелюбно и, как мне показалось, даже слегка заискивающе предложил: — Не пожалуйте ли ко мне в гости?

Я взглянул на Куру. Он молча ладил следующую ловушку. Поколебавшись немного, я решил, что обижу Кояму отказом, и, предупредив Куру, направил свою плоскодонку вслед за лодкой капитана. Ярко светила луна, но узкая протока, лежавшая в тени высоких камышей, все равно оставалась черной. Я плыл за Коямой, после первых же поворотов утратив всякое представление о том, где я, собственно, нахо-

жусь. Но капитан уверенно вел свою лодку, и вскоре, миновав узкую, извилистую и совершенно неведомую мне протоку, мы причалили к борту семнадцатого.

А еще через полчаса мы уже сидели на циновках в тесной каюте и распивали чай. Кроме каюты, отделанной на европейский лад, на рейсовых пароходах имелась всегда и каюта в японском стиле. На семнадцатом обе эти каюты казались даже чуть попросторнее, чем на прочих подобных кораблях, — может быть, оттого, что его переоборудовали из колесного судна. По бортам виднелись иллюминаторы, сзади стояла деревянная переборка, отделявшая каюту от машинного отделения, а впереди, за перегородкой, находилась значительно большая по размерам каюта, обставленная по-европейски. Пол нашей каюты был устлан четырьмя циновками, на переборке висела самодельная полка с крохотным домашним алтарем, десятком книг и маленьким стеклянным ящичком с куклой, втиснутым между книгами и углом полки. Кухня помещалась в соседней каюте. Здесь же стояла небольшая жаровня с углями, рядом — шкафчик для чайной посуды, складной столик, ведерко для угля, прикрытая крышкой плетеная корзинка, доска для игры в сёги<sup>3</sup> с коробкой для хранения фигур и многие еще мелочи, так необходимые в холостяцком быту. Каждой из них отведено было свое особое место: старик, по всему судя, любил порядок.

— Вас удивляет эта кукла? — спросил капитан, проследив за моим взглядом. — Оно и верно, вроде для чего старику кукла? Как-то пришел ко мне сын с внучкой. Ей было в ту пору пять — не больше. Помню, она ударилась в слезы: подавай куклу, и все тут! Сын говорит: отдай игрушку, зачем она тебе! Но я не отдал. Сколько уже лет она здесь, рядом со мною. Я и теперь никому бы ее не отдал.

Помнится, я завел тогда разговор о морском характере, о том, что-де капитан Кояма, как это принято у моряков, любит и бережет свое судно.

— Если я не ослышался, сегодня Кура вас сэнсэем<sup>4</sup> назвал? — капитан улыбнулся. — Не знаю, в каких вы преуспели науках, но, наверное, приятно, когда тебя величают сэнсэем. А причина, по которой у меня пароход всегда в порядке, проще, чем вы думаете. Дело в том, что детвора, эти окаймленные бесенята, стоит им здесь появиться, то черной краской

<sup>3</sup> Сёги — японские шахматы.

<sup>4</sup> Сэпсэй — учитель; почтительное обращение к ученому, писателю и т. п.

корабль обмажут, то заляпают грязью. Нынче детишки совсем от рук отбились. Чуть углядят что чистое да красивое, сразу давай ломать и марать, да еще радуются, будто кровного своего истребляют врага. Ругай не ругай их — все без пользы! Вот и изволь всякий раз подчищать да закрасивать их мазью. А кому, как не мне, прикажете заниматься этим парходом?

Мы поболтали еще о всякой всячине, и — сейчас уж не вспомню, как это вышло, — капитан заговорил вдруг о своей давней любви, а я, приняв безразличный вид, внимательно его слушал. Известно ведь, одним рассказчикам правится, когда слушатели проявляют к их повествованию повышенный интерес — вздыхают да охают, других же, напротив, внимание только отпугивает. Здесь важно не ошибиться. Ошибешься, и пиши пропало — уплыл из рук прекрасный рассказ. Чутье мне подсказывало, что Кояма как раз из пугливых, и потому я старался его не спугнуть.

Рассказ капитана был прост и бесхитростен.

Ему едва исполнилось восемнадцать лет, когда он влюбился — впервые в жизни. Девушка, дочь хозяина мелочной лавчонки в Синхорикава, была на год моложе Коямы, звали ее О-Аки. Чувство их было наивным и чистым, какой бывает всегда первая любовь. И длилась она более трех лет, пока неожиданно ей не был положен конец. Нет, они не разлюбили друг друга. Просто их разлучил отец О-Аки.

Человек деловой, предприимчивый, он надумал завести камышовые плантации и добился от префектуры разрешения на право посадки камыша по всему обширному району — от низовьев реки Нэдогава до восточного побережья. Побережье от Кацусика до Уракасу издавна славится собираемым здесь нори<sup>5</sup>. А нори ведь сушат на камышовых навесах, так что — не говоря уже о других потребностях в камыше — спрос на него был настолько велик, что плантации быстро окупились и начали приносить доход. Вскоре владелец мелочной лавки стал большим богачом, и его величали теперь не иначе как господином.

Так вот, едва О-Аки исполнился двадцать один год, как отец просватал ее за денежного человека из Нагасимы. Накануне свадьбы О-Аки встретила тайком с Коямой в сосновой роще у восточного побережья. Девушка протянула ему

---

<sup>5</sup> Нори — съедобные водоросли, употребляются в качестве приправы.

ящичек с куклой и сказала: «Пусть меня выдадут силком замуж, но сердце свое вместе с моей куклой я отдаю тебе. Храни ее и знай: я всегда рядом с тобою». Тут она заплакала.

На бумаге, да еще в чужом изложении, все это кажется простым и обыденным, но, когда я слушал капитана, именно «обыденность» случившегося потрясла меня до глубины души.

Девушка прижалась к Кояме и в отчаянии стала предлагать себя: мол, ее все одно отдадут замуж за нелюбимого, так пусть же он, Кояма, будет первым, кому она отдаст себя. Кояма до той поры не был близок с женщиной, он растерялся, и, чем настойчивее становилась девушка, тем больше он робел и смущался. Так они и расстались, не познав друг друга.

Дом мужа О-Аки стоял неподалеку от реки Нэтогава, и с тех пор как О-Аки поселилась там, она всякий раз стремглав бежала к реке на дамбу, едва слышав гудок парохода, на котором плавал Кояма. Говорят, каждый пароход гудит по-своему, и привычное ухо тотчас различает их по голосам. О-Аки издалека узнавала сирену семнадцатого. Случалось, она выбегала к реке простоволосая, с подоткнутым подолом — должно быть, гудок заставлял ее за стиркой — и, запыхавшись, взбиралась на дамбу. Она не махала Кояме рукой, не окликала его и вроде бы даже не глядела на пароход, лишь стояла, не шевелясь, словно говорила Кояме: «Я здесь!» Иногда она, правда украдкой, косилась в его сторону, сохраняя на лице полное равнодушие. Они могли видеть друг друга лишь на протяжении трехсот метров, пока пароход проходил мимо дамбы. По времени это занимало минут пять, если судно шло вверх по течению, а когда возвращалось к устью реки — и того меньше, от силы минуты три. Эти мимолетные, не сулившие ни малейшей надежды, неприметные постороннему глазу свидания доставляли Кояме неизъяснимое счастье.

Потом семнадцатый переоборудовали под перевозку грузов, и Кояма перешел на девятнадцатый. Однажды О-Аки не показывалась на дамбе чуть ли не целых два месяца. Кояма решил, что всему конец: любовь, которую питала к нему девушка, угасла. Он был испуган и подавлен, пожалуй, даже сильнее, чем в далекий уже день их разлуки. Но Кояма беспокоился напрасно: прошло еще немного времени, и О-Аки опять появилась на дамбе, только уже не одна — на руках у нее был закутанный в одеяло ребенок.

— И странное дело,— продолжал старик,— уж не знаю, как это понять, но мне вдруг почудилось, будто ребенок, которого она прижимала к груди, мой! Будто это она от меня родила и младенец наш общий — мой и ее. Вам небось подобные вещи кажутся дикими, не правда ли? У О-Аки родилась девочка. Стороной я узнал, что роды были тяжелые и О-Аки после них очень ослабела. Должно быть, поэтому она реже стала появляться на дамбе, но и не видя ее, я уже не испытывал ни страха, ни тревоги: легко ли хозяйке богатого дома, да еще при малом ребенке, урвать свободную минуту...

В двадцать семь лет Кояма стал механиком и женился на женщине неотесанной и своенравной из его родной деревни. С первого дня никакой душевной привязанности он к ней не испытывал. Жена родила ему сына и дочь и тридцати двух лет от роду умерла, так и не внушив Кояме ни любви, ни уважения. Да и сама она его не любила, ей, скажем, и дела не было до ящичка с куклой, и она никогда не задумывалась над тем, не полюбил ли муж другую.

— Камыши зовут ветер,— прервал вдруг свой рассказ капитан и прислушался.— Не выйти ли нам на палубу?

Мы поднялись на палубу. После тесной каюты, где стояла жаровня, полная раскаленных углей, осенний ночной воздух приятно охлаждал кожу.

— Да, камыши зовут ветер,— снова сказал капитан.— Ветер с востока призывают. Сейчас он нагрянет, вот увидите.

И правда, мгновение спустя с той стороны, куда указывал капитан, донесся слабый порыв ветра. Я вытащил сигареты и спички, закурил и предложил капитану, но он отказался. Луна совсем склонилась к западу, по небу поползли тучи. В траве на берегу громче запели цикады, ветер шевельнул камыши, стряхнул с листьев росу, и воздух наполнился свежестью. Временами тучи застилали луну, и вдруг становилось темно, потом они уплывали прочь, и окрестности озарялись зеленоватым светом, словно мы находились в заколдованном подводном царстве.

Капитан сел на свое место в рубке, положил обе руки на штурвал, слегка повернул его влево-вправо, потом дернул за шнур висевшего справа сигнального колокола.

«Дзиль»,— раздался мелодичный звон, потом еще два раза: «Дзиль-дзиль».

— Задний ход! Это был наш условный сигнал,— пояснил капитан.— Когда пароход приближался к Нагасиме, я ударял

в колокол один раз и кричал: «Задний ход!» Потом приказывал: «Малый вперед!» — и звонил два раза. В то время я уже плавал капитаном на двадцать девятом.

Он стал капитаном в тридцать пять лет. Их свидания продолжались, правда не так уж часто. Иногда, по разным причинам, они подолгу не видели друг друга. Тем временем О-Аки родила еще двоих детей, а у него умерла жена. И все-таки вопреки помехам и хитросплетениям житейских обстоятельств они старались не пропускать необычных своих свиданий всякий раз, когда это бывало возможно. На большее они не осмеливались. Капитан так ни разу и не сошел на берег в Нагасиме и только молча страдал, если подолгу не видел ее на дамбе, и тревожился: уж не захворала ли? Иногда он узнавал стороной, что О-Аки и впрямь больна, и тогда им овладевало неодолимое желание проведать ее. Но каждый раз некая таившаяся в нем сила помогала ему преодолеть это желание.

— И все же один-единственный раз я подошел к ней и даже заговорил.— Кояма тихонько засмеялся.— Случилось это незадолго до смерти жены. О-Аки села на мой пароход в Токуюки. С ней была девочка лет четырех. Я подхватил девочку и перенес ее по мосткам на палубу, а она поднялась следом, взяла у меня девочку и сказала: «Простите за беспокойство!» Я ответил: «Хороший сегодня день, не правда ли?» Сколько лет прошло, а помню все — слово в слово.

Капитан Кояма умолк, взглядываясь в сосновую рощу на берегу.

— Простите за беспокойство! — повторил он шепотом.— Хороший сегодня день, не правда ли?

О-Аки умерла, когда Кояме исполнилось сорок два года. Он узнал об этом лишь два месяца спустя. Ей ведь и раньше случалось подолгу не появляться на дамбе, и потому — бывает же в жизни такое — он не тревожился, не испытывал тяжелых предчувствий. Но когда он узнал, что О-Аки долго и тяжело болела и вот уже два месяца, как умерла, его охватило горе, какое и не опишешь словами. Он страдал и ни в чем не находил утешения. Стоило ему вспомнить, что больше уж в этом мире им никогда не встретиться, и руки его, управлявшие судном, бессильно падали со штурвала. Он покинул свой пароход и целую неделю просидел дома запершись. И вот в бездонной пропасти его горя, отчаяния и скорби стало вдруг потихоньку нарождаться какое-то светлое ощущение; ему казалось, будто с души у него свалился тяжелый камень.

— Как бы вам это растолковать? — помолчав, сказал капитан и погладил пальцами штурвал. — Мне почудилось, вроде бы после смерти она возвратилась ко мне. Да-да, именно такое чувство, словно ко мне возвратилось нечто, на долгое время отданное людям взаймы... И, ощутив это, я вытер пыль с ящичка, где хранилась кукла.

Когда-то давным-давно девушка сказала ему: «Пусть меня выдадут силком замуж, но сердце свое вместе с моей куклой я отдаю тебе». И вот теперь-то слова ее поистине сбылись.

С тех пор как умерла жена, капитан жил один-одинешенек. Сейчас же его одиночеству пришел конец: к нему навсегда вернулась его О-Аки. Дети обычно бывают весьма наблюдательны, и от них трудно что-нибудь скрыть, поэтому капитан ни разу — ни словом, ни жестом — себя не выдал; но в сердце своем тайно от всех он постоянно беседовал с О-Аки.

«— Сегодня в Татэгаве паром был прямо битком набит, пришлось добираться добрых пять часов.

— Какой ужас! Вы, наверное, очень устали. Отдохните, сейчас принесу вам рюмочку сакэ<sup>6</sup>.

— Не волнуйся. Да и сакэ не надо! Я после выпивки всегда чувствую себя совсем разбитым.

— Экий вы нескладный, все, гляжу, у вас не как у людей».

Он говорил с нею всерьез, не замечая, что сам наедине с собою ведет весь этот диалог. Случалось даже, во время их разговоров она капризничала, как дитя, и отвечала невпопад, вопреки его воле.

— Иногда она говорила, что хочет проведать свой дом, — рассказывал капитан, — погляжу, мол, на малышей и вернусь. Я ей, само собой, не препятствовал и, когда пароход подходил к Нагасиме, сперва давал задний ход, чтобы спустить ее на берег, а потом уж — малый вперед.

На судне, понятно, никому и в голову не приходило, почему на подходе к Нагасиме капитан отдавал совершенно ненужные команды: «Задний ход!», «Малый вперед!» Просто решили, что у него, как говорится, не все дома.

— Люди и теперь толкуют, что я, мол, совсем свихнулся, — сказал капитан, и в горле у него забулькал странный хриплый смешок. — Говорят, будто только псих мог купить

---

<sup>6</sup> Сакэ — японская рисовая водка.

эту старую галошу — семнадцатый и поселиться здесь, среди камышей, в полном одиночестве.

— В одиночестве!..— Губы его тронула хитрая ухмылка.— Им и невдомек. Это я только вам рассказал...

Капитан Кояма умолк. Рассеянный взгляд его блуждал среди сосен, темными силуэтами высившихся на берегу. Он зевнул, поглядел на обступившие семнадцатый заросли камыша.

— Скоро начнут резать камыш,— сказал он.— Самое время охоты на дичь. Нагрянут охотники, станут палить почем зря. Нет, не люблю я этот охотничий сезон.

Небо начинало светлеть. Я сел в свою плоскодонку и поплыл прочь.

Больше мне не доводилось встречать капитана Кояму.

## Бежит по нашей улице трамвай

К нашей улице можно проехать на трамвае. Трамвайный путь — единственный. Правда, нет ни рельсов, ни проводов, да и вагонов тоже. Обслуживает маршрут один лишь водитель, но поскольку самого трамвая не существует, пассажирам, само собой, и садиться некуда. Короче говоря, кроме водителя Року-тяна и нескольких реально существующих предметов, все остальное — плод воображения.

Року-тян и мать его Окуни живут на соседней, более широкой улице. Отец его то ли умер, то ли ушел от них — словом, отца у Року-тяна нет, и никто из соседей его никогда в глаза не видел. У Окуни — маленькая харчевня, она сама жарит для посетителей тэмпура<sup>1</sup>. Говоря откровенно, она подает самые немудреные тэмпура — овощные.

Окуни — полная, широколицая женщина лет сорока. В глазах у нее застыло выражение недоверия и подозрительности, губы ее всегда плотно сжаты, как сомкнутые створки раковины хамагури. Темные, с еле приметным коричневатым отливом волосы стянуты на затылке узлом.

Окуни ходит бесшумно в легком застиранном хлопчатобумажном кимоно, поверх которого повязан белый передник. И зимой и летом на шею у нее наброшено полотенце, свисающее над жаровней, где она жарит тэмпура. Полотенце и белый передник должны создавать у посетителей впечатление опрятности.

Окуни удивительно молчалива. Она даже гостям не выражает радушия, считая, должно быть, что лучшей гарантией гостеприимства является вкус ее тэмпура. Кажется, все ее помыслы сосредоточены на готовке этого блюда. Но на самом деле, привычно манипулируя палочками, она успевает подумать и о Року-тяне, и о божеской милости и помечтать о

---

<sup>1</sup> Тэмпура — креветки, ломтики рыбы или овощей, зажаренные в тесте.

чуде, которое вот-вот свершится, потому что ее познакомили с недавно появившимся заклинателем, который, по слухам, исцеляет калек. Мысли эти ворочаются и сталкиваются у нее в голове, покуда она жарит очередную порцию тэмпура.

Вечером Окуни закрывает харчевню, стелет постель и, окончив с приготовлениями ко сну, зажигает лампу и курительные палочки, берет в руки маленький, плоский, словно игрушечный, барабан и вместе с Року-тяном садится перед домашним алтарем. Хорошо бы, конечно, иметь настоящий, большой ритуальный барабан, думает Окуни, но от покупки ее всякий раз удерживает робость: что скажут соседи, а ведь многие из них завсегдатаи ее харчевни, да и неужто же божья милость зависит от размеров барабана? Вот почему Окуни по-прежнему пользуется игрушечным барабаном, хотя и чувствует, что это вроде бы не по правилам.

— Наммё рэнгё!<sup>2</sup> — опережая мать, восклицает Року-тян и кланяется перед алтарем.— Прости, боженька, за то, что всегда прошу тебя об одном и том же. Пошли бедной моей матушке разум! Наммё рэнгё!

Окуни ударяет в игрушечный барабан и тоже начинает молиться.

Надо ли объяснять, что Окуни молит бога за свое родное дитя! И как не удивляться тому, что Року-тян, опережая ее, всякий раз просит бога ниспослать исцеление своей совершенно здоровой матери!

Нет-нет, Року-тян не передразнивает мать. В молитве его вовсе не скрыта насмешка или какие-то тайные намеки. Он прекрасно понимает, что матушка испытывает за него неловкость перед людьми и ради его выздоровления взывает к богу, произносит заклинания, приглашает чудотворцев и знахарей. И он своими молитвами как бы увещевает мать: не нужно, не нужно тревожиться обо мне, на это, право же, нет причин.

— Почему ты так беспокоишься обо мне, матушка? Разве мы в чем-нибудь испытываем нужду? — изо дня в день повторяет Року-тян.

— Верно, сынок, у нас всего вдоволь, и я ничуть не волнуюсь,— отвечает ему Окуни, но тень страдания и обреченности, омрачающая ее лицо, не исчезает. Это раздражает Року-тяна, выводит его из себя. Ему жаль мать, которая так

---

<sup>2</sup> Наммё рэнгё (сокр. от Наму-мёхо-рэнгэ-кё) — пазваппе лотосовой сутры.

горюет безо всякой причины, и он искренне молит бога, чтобы тот помог матери и послал ей разум.

— Прошу тебя, боженька,— твердит Року-тян, когда мать ненадолго прерывает молитву, чтобы перевести дух,— может, я и надоед тебе своими просьбами, но все равно умоляю: сжался над матушкой! Наммё рэнгё!

У Окуни мучительно сжимается сердце. Который год из вечера в вечер вот так же молятся они богу, и всякий раз простодушные слова сына острой болью отдаются у нее в душе и глаза ее застилают слезы.

Какой он заботливый и добрый! И как красиво он говорит! Что, если вот сейчас, сию минуту к нему вернется разум! О, как ей хочется верить в это!

Року-тян с жалостью смотрит на Окуни, следя за выражением ее лица. И, словно утешая испуганное дитя, говорит ей:

— Полно, матушка, что ты волнуешься? Все будет хорошо, не тревожься, родная.

Року-тян на всем белом свете любит только мать да старого Хансукэ, что живет на нашей улице, и его кота Тору. Можно, конечно, сказать наоборот: Року-тяна любят лишь эти двое и кот. Все прочие люди не питают к нему никаких добрых чувств. Они дразнят его и своими грубыми шутками мешают Року-тяну водить трамвай, у мальчика из-за них все время натянуты нервы.

Злые люди эти, особенно детвора, дразнят его трамвайным дурачком. Может, если глядеть со стороны, они и правы, но разве он, Року-тян, не самый усердный и добросовестный водитель трамвая?

Утром Року-тян первым делом спешит осмотреть трамвай. Вагоны стоят в депо — на дорожке, позади дома.

В самом углу крохотной кухни, рядом с крышкой, прикрывающей лаз в подпол, стоит старый ящик из-под мандаринов, здесь в строгом порядке разложены лейка без носика, кусачки, отвертка, замасленные рабочие рукавицы и ветошь. Все эти вещи существуют на самом деле. Кроме того, в воображении Року-тяна существуют еще рукоятка контроллера, визитные карточки, наручные часы и форменная фуражка. Безносная лейка выполняет роль масленки.

Року-тян берет масленку, кусачки, отвертку и шагает в депо осматривать трамвай. На самом деле там ничего нет, но мальчик ясно видит стены депо и стоящий на рельсах трамвай. Многозначительно пожимая плечами, цокая языком и

поглаживая рукой подбородок, он медленно обходит вокруг вагонов, постукивает по ним кулаком, нагибается, чтобы осмотреть ходовую часть трамвая.

— Безобразие, — бормочет Року-тян, укоризненно качая головой. — Куда только смотрят механики? Бездельники! Я покажу этим разгильдяям!

Покончив с техническим осмотром, Року-тян умывается, завтракает и собирается на работу. Правда, в те дни, когда Окуни уходит за продуктами для харчевни, ему приходится дожидаться ее возвращения. На рынок Окуни ходит обычно через день, но иногда ей случается делать покупки несколько дней подряд. Тогда Року-тян нервничает, не находит себе места и в сердцах выговаривает матери, что, мол, ее опоздания наверняка скажутся на его зарботке. Перед уходом на работу Року-тян забегает на кухню, достает лежащую в ящике из-под мандаринов форменную фуражку и нахлобучивает ее себе на голову. Затем натягивает измазанные машинным маслом рукавицы, берет рукоятку контроллера и визитные карточки. Из всех перечисленных предметов реально существуют лишь рукавицы, остальное — плод его воображения.

Року-тян садится на водительское место, вставляет визитную карточку в рамку на переднем стекле и надевает рукоятку на наконечник контроллера. Затем правой рукой сжимает ручку на колесе тормоза, несколько раз покручивает его влево, затем вправо, проверяя исправность тормозного механизма. Все эти операции Року-тян проделывает ежедневно в четкой последовательности и с такой серьезностью и старанием, которым позавидовал бы и профессиональный водитель.

— Теперь поехали, — бормочет Року-тян и отпускает тормоз. При этом правая рука, сжимавшая тормозную ручку, крутанув ее, слегка приподнимается, и колесо тормоза, свободно вращаясь, возвращается назад.

Люди прозвали Року-тяна трамвайным дурачком. Но Року-тян вовсе не был дурачком. Вопреки мнению невежд, врачи-специалисты, тщательно обследовавшие его, в один голос утверждали, что он не идиот и не слабоумный ребенок, и в положенный срок Року-тян поступил в начальную школу и через шесть лет ее окончил. За все это время он ни разу не приготовил уроков, не занимался физкультурой, не принимал

участия в ребячьих играх. С первого дня, когда он пришел в класс, и в течение всех шести лет Року-тян рисовал трамваи, а возвращаясь домой, изучал технику вождения.

Его считали дурачком; и в самом деле, трамвай Року-тяна в действительности не существовал, а все операции, которые он проделывал — от включения тока до возвращения трамвая в депо, — совершались лишь в его воображении.

А каковы те, кто водит не придуманные, а настоящие трамваи? Вот один из них поворачивает с довольно оживленной улицы на север, минует мост и направляется к центру, где снуют трамваи, автобусы, грузовики и легковые машины. Все они существуют в действительности, и управляют ими настоящие — здесь не может быть ни малейших сомнений — водители. Но что они собой представляют?

Вот один из таких настоящих водителей в самом деле управляет сейчас своим трамваем, но душа его, его мысли весьма далеки от выполняемой им работы. Он думает о том, как вчера вечером поругался с женой и ушел в забегаловку, а там его незаслуженно оскорбили. Воспоминания эти нагоняют на него тоску, постепенно переходящую в злость. Мысленно он поносит последними словами жену и с наслаждением избивает в пивной своего оскорбителя. В воображении своем все постигшие его горести он связывает с работой и проклинает тот день и час, когда решил стать водителем трамвая. Глаза его застилает пелена ненависти и злобы, и он сторяча проскакивает остановку. Гнев пассажиров, собиравшихся здесь сойти, обрушивается на кондуктора, и тот изо всех сил давит на кнопку звонка. Тут уж водитель, кипя в душе из-за собственной промашки, резко останавливает трамвай.

Да мало ли подобных примеров отыщется и среди людей других профессий — почти все они, как правило, недовольны своей работой. Наверное, многие, что бы они там ни утверждали на словах, в душе не любят свою работу, презирают и даже ненавидят ее.

Вы скажете, нельзя сравнивать этих людей с Року-тяном. Но он всей душой предан своему воображаемому трамваю и водит его с гордостью и наслаждением...

Вот он как раз проезжает по своей собственной улице. Лево́й рукой он переводит рукоятку на вторую скорость, правой — крепко сжимает тормозную ручку.

— Тук-тук-тук! — подражает он стуку колес, сперва резко и медленно, потом, когда трамвай набирает скорость,

все быстрее и быстрее. На стыках рельсов колеса стучат по-другому: «Тука-тук, тука-тук».

Когда же вагоны пересекают другую трамвайную линию, стук еще более усложняется, ведь идущие поперек рельсы должны миновать четыре пары колес — сперва головной, потом задний вагон.

— Тука-ка-тук, тука-ка-тук, тука-ка-тук, тука-ка-тук.

Вдруг на пути трамвая появляется рассеянный прохожий. Року-тян стучит носком правой ноги по земле — нажимает на педаль звонка:

— Дзинь, дзинь, дзинь!

Прохожий, не обращая внимания на сигналы, прямо по путям идет навстречу трамваю. Наверное, он приехал из другого города, незнаком с Року-тяном и не замечает ни рельсов, ни трамвая, который ведет мальчик.

У Року-тяна кровь приливает к щекам. Он пытается срочно остановить трамвай.

— Берегись! — кричит он, быстро переводя левой рукой рукоятку контроллера на ноль, а правой изо всех сил крутя колесо тормоза.

— Дззз... — подражает он скрежету тормозов.

Наконец трамвай останавливается в опасной близости от прохожего.

— Куда смотришь, растяпа? — кричит он рассеянному мужчине, высунув из окна покрасневшее от напряжения лицо. — Так ведь недолго и под трамвай угодить. — И, строго глядя на него, добавляет:

— По путям ходить запрещено. Ты что, не слышал об этом, деревенщина?!

Рассеянный прохожий, разинув от изумления рот, растерянно смотрит на возбужденное лицо Року-тяна и спешит отойти в сторону. Року-тян сердито глядит ему вслед и бормочет:

— Ненормальный какой-то! Ходит где попало, деревенщина!

Затем, приподняв правый локоть, он отпускает тормоз, переводит рукоятку на вторую скорость и ловит ручку раскрутившегося тормозного колеса. Трамвай трогается, плавно набирая скорость.

— Тук, тук, тук, тук, — стучат колеса.

Здесьние жители давно уже не обращают внимания на Року-тяна. Для них он — привычная деталь городского пейзажа. Року-тян тоже к ним безразличен. Другие дети не ин-

терсуют его, и он лишь презрительно косится на них, когда они его дразнят.

Совершив три рейса, Року-тян возвращается домой — отдохнуть, потом делает еще три рейса и заканчивает рабочий день. Правда, время окончания работы неопределенно и полностью зависит от настроения Року-тяна. Повстречав по дороге Тору — кота, который живет у Хансукэ, Року-тян останавливает трамвай, берет кота на руки и относит к дому Хансукэ.

Тора на удивление рослый и упитанный кот. Голова его здоровенная и круглая, величиной с футбольный мяч. У Хансукэ он живет уже лет семь, и все, понимающие толк в котах, утверждают, что ему никак не меньше двенадцати лет. Само собой, среди всех здешних котов он — фигура номер один.

— Как дела, Тора? — спрашивает кота Року-тян, беря его на руки. — Что ты сегодня остановил — грузовик или трамвай?

Кот разевает пасть, собираясь мяукнуть, но никакого звука при этом не издает. Наверное, он надорвал голосовые связки во время походов и ежедневных кровопролитных драк и подает голос лишь в самых крайних случаях.

— Сколько машин остановил? — снова обращается к нему Року-тян. — Три или, может быть, пять? А тэмпура сегодня ел?

Кот снова беззвучно разевает рот, благостно щурит глаза и мурлычет. Спрашивая про тэмпура, Року-тян имел в виду вовсе не харчевню своей матери, а «Тэммацу», где подавали настоящие тэмпура всех сортов.

— Поедем-ка лучше домой, — говорит Року-тян, поворачивая трамвай. — Тебе ведь в другой трамвай лучше и не соваться: заметит контролер — оштрафует. Котам проезд в трамваях запрещен. Но со мной можно. Ну-ка, держись покрепче — я набираю скорость. Тук, тук, тук, тук...

Трамвай уже старый, поэтому иногда случаются неполадки. Року-тян недовольно цокает языком, останавливает трамвай и слезает с водительского сиденья. Успокаивая сидящего у него на плече кота, Року-тян медленно обходит вагоны, осматривает их, с кислым видом постукивает по корпусу, заглядывает под трамвай, проверяя сцепление, потом глядит вверх: плотно ли прилегает к проводу дуга.

Все движения его настолько естественны, что человеку,

впервые наблюдающему за ним, трудно поверить, будто они только лишь порождение пустой фантазии. Даже размеры прямоугольника, по которому Року-тян обходит вагоны, вызывают ощущение реально существующего трамвая. Мало того, постепенно вам начинает казаться, будто вы и вправду слышите, как Року-тян простукивает узлы сцепления и колеса.

— Ох уж эти мне механики! — бормочет Року-тян. — Кто дал им право халтурить лишь потому, что трамвай, мол, старый! Ничего, вернемся в депо, я покажу им, где раки зимуют!

Року-тян возвращается на водительское место, включает скорость.

— Поехали, — говорит он восседающему у него на плече коту. — Тук-тук, тук-тук...

К югу от улицы, где живет Року-тян, стоит овощная лавка, которую здесь, в округе, прозвали «Зелень за грош». Название это, я думаю, прижилось потому, что овощи и зелень тут чуть ли не на треть дешевле, чем во всех прочих лавках. И покупатели тянутся сюда издалека.

Между зеленой лавкой и маленькой сапожной мастерской начинается переулочек длиной метров во сто — весь в бесчисленных непросыхающих лужах. Переулок выходит на обширный глинистый пустырь, посреди которого, словно клочья шерсти на облезлой старой собаке, торчат там и сям тощие пучки травы. Здесь валяются старые, негодные чашки, ржавые консервные банки, обрывки бумаги. Поодаль растут несколько кривых старых дубов, мимо которых проходит довольно широкая сточная канава, окаймленная буйным кустарником. Короче говоря, царство запустения и тлена.

Року-тян пересекает пустырь по узкой тропинке, упирающейся в сточную канаву. В неподвижной, грязно-зеленой воде, переливающейся радужными пятнами нефти, плавают разбитые чашки, обломки палочек для еды, искореженные бидоны и прочий мусор; попадаются там нередко дохлые кошки и собаки. Зимой и летом над канавой стоит тяжкий, душливый смрад.

Року-тян перепрыгивает через канаву. Здесь как бы пролегает пограничная линия: восточный берег канавы принадлежит соседнему оживленному кварталу, западный — нашей улице. Люди, живущие на разных ее сторонах, никогда не пересекают границу.

Нашу улицу населяет беднота, как говорится — голь перекатная, не имеющая постоянной работы. Это — рассадник преступлений. Кого здесь только не встретишь: бывших банкротов и взломщиков, бродяг, шулеров. Жители восточной стороны стараются даже случаем не заглядывать сюда, но не потому, что опасаются здешнего люда; скорее всего, наша улица и все мы, вместе взятые, кажемся им чуждым, неправдоподобным, а может, и вовсе несуществующим миром.

Улица наша начинается сразу за упомянутыми уже мною тощими дубами. Всего-то она насчитывает семь длинных барakov да пять полуразвалившихся домиков, на вид почти неотличимых от сараев. Домишки поставлены беспорядочно: одни — прислонясь друг к другу крышами, другие — поодиночке, словно шарахаются в страхе прочь от соседей. А позади возвышается отвесная пятнадцатиметровая скала, на которой находится заросшее бамбуком и невидимое снизу кладбище храма Сэйгандзи. Огромная каменная скала всей своей массой нависла над нашей улицей, и притулившиеся к ней домишки кажутся поэтому еще более жалкими.

Детишки, играющие на пустыре, не обращают на Року-тяна никакого внимания. Не оборачиваются в его сторону и старики со старухами, которые здесь, на пустыре, вечно что-то разбирают, сушат и складывают. Для них Року-тян просто не существует, как не существуют и все остальные люди с восточной стороны канавы. Да и что в этом особенного: разве в обыденной нашей жизни мы постоянно не сталкиваемся с подобными же вещами? На людных улицах, в театрах, в кино, в учреждениях каждый из нас реально осознает существование другого человека после того лишь, как он вступает с нами в непосредственный контакт, а во всех остальных случаях мы, находясь друг с другом рядом, разобщены, словно выходцы из разных миров, и как бы не существуем в едином пространстве и времени.

— Ну вот, — говорит Року-тян коту. — Сейчас будет твой дом.

Он вступает в узкий, кривой закоулок, обставленный двухэтажными бараками. Правда, двухэтажными их можно назвать скорее условно: вторые этажи — это просто низкие чердаки, где и не выпрямишься даже во весь рост. Не только крыши с навесами, но и стены баракoв угрожающе покосились. И кажется, будто одни дома безмолвно кланяются друг другу, а другие — брезгливо отвернулись от них прочь.

Кот, спрыгнув на землю, быстро исчезает за полуоткрытой решетчатой дверью. Дверь эту вовсе не приоткрывали им навстречу. Она застыла в таком положении с давних пор — теперь уж ее не отворить пошире и не захлопнуть.

— Принимайте вашего Тору! — кричит Року-тян.

Тотчас же старая, не раз проклеенная бумагой перегородка отодвигается на два-три дюйма в сторону, и из щели выглядывает худощавое лицо мужчины лет пятидесяти. Это Хансукэ. Он озирается, словно высунувшийся из норки пугливый зверек.

— А, это ты, Року-тян, — тихонько говорит Хансукэ. — Кота, значит, привел?

— Ага!

— Спасибо тебе за заботу, — улыбается Хансукэ, но на всякий случай перегородку дальше не отодвигает.

Року-тян снимает несуществующую фуражку и трет ладью лоб.

— Ну как, все молишься вечерами? — посерьезнев, спрашивает Хансукэ.

— Что поделаешь, приходится, — отвечает Року-тян.

— Да-а, нелегкая жизнь у твоей матушки, — вздыхает Хансукэ.

— Нет-нет, не беспокойтесь, у нас все в порядке. Я ведь сам присматриваю за ней.

— Что верно, то верно, — бормочет Хансукэ, смущенно отводя взгляд.

Року-тян поглаживает козырек несуществующей форменной фуражки.

— А у вас как работа ладится? — спрашивает он у Хансукэ.

— Да помаленьку, — отвечает Хансукэ, пряча улыбку. — Не скажу, чтобы все шло гладко, но и жаловаться не на что.

— Та-ак, — солидно тянет Року-тян.

Из-за спины Хансукэ выглядывает Тора. Он смотрит на Року-тяна и широко разевает пасть. Наверное, хочет мяукнуть, но не получается. И кот исчезает за спиной Хансукэ.

— Вот, значит, какие дела, — бормочет Хансукэ, потирая пальцем нос. И, словно подчиняясь этому, понятному только им обоим знаку, Року-тян нахлобучивает фуражку, машет на прощание рукой и уходит.

— Спасибо тебе, — кричит ему вслед Хансукэ. — Кланяйся матушке.

Вечером, закончив приготовления ко сну, Окуни и Року-тян садятся перед домашним алтарем. Мерцает лампа, и ароматный дымок вьется над курительной палочкой. Окуни берет в руки маленький плоский барабан. Опережая мать, Року-тян кланяется перед алтарем.

— Наммё рэнгё! — Року-тян доверчив и прост, словно бог и впрямь находится здесь, в алтаре.— Прости меня, боженька, за то, что всегда прошу тебя об одном и том же. Пошли бедной моей матушке разум! Наммё рэнгё!

Мать ударяет в барабан и начинает молитву.

Но вдруг Року-тян прерывает ее и, снова кланяясь перед алтарем, говорит:

— И дядя Хансукэ, у которого живет кот Тора, тоже тревожится о здоровье матушки.

Окуни отодвигает барабан и, недоумевая, глядит на Року-тяна. Мальчик качает головой и говорит, чтобы успокоить ее:

— Не волнуйся, матушка! Волнение — самый страшный яд для головы. Все хорошо, матушка! Все будет в порядке!

Окуни снова поворачивается к алтарю и, несильно ударяя в барабан, начинает молитву...

## Дом с бассейном

Июньским дождливым вечером отец и сын брели по мокрой улице. Отцу на вид было лет сорок, мальчику — шесть или семь. Пожалуй, он был слишком мал и худ даже для шестилетнего, но, если судить по их разговору с отцом, ему можно было дать и намного больше.

Одеты они были в обноски, на ногах — совсем разбитые гэта<sup>1</sup>. Одежда их давно утратила первоначальный вид, и невозможно было определить, чем она была поначалу: кимоно ли на подкладке или ватником. Глядя на свалявшиеся, давно не стриженные волосы и худые, землистые лица, мужчину и мальчика можно было принять за обычных уличных нищих, да и жизнь их мало чем отличалась от нищенской.

Но имелось все-таки в самой сути их бытия нечто такое, что выделяло отца и сына из среды уличных бродяг. И пусть чужие люди из милости давали им еду и одежду, а жильем им служила жалкая лачуга, походившая на собачью конуру, но все же они никогда не сидели на обочине дороги и не канючили, прося подаяния. Если на улицах женщины подавали мальчугану милостыню, он кланялся и благодарил их. Но сам никогда ничего не просил и, в общем, почти не отличался от всех прочих детей. И, конечно, отец и сын не были похожи на обычных нищих еще и потому, что вели между собой нескончаемые беседы.

В тот вечер, бредя по улице и не имея даже зонта, чтобы укрыться от назойливого дождя, они говорили о собственном доме, который собирались когда-нибудь построить.

— Хорошо бы поставить его на вершине холма, — рассуждает отец. — Японцы испокон веку строят дома в низинах: где-нибудь у подножия горы, в лощине или между холмами.

---

<sup>1</sup> Гэта — японские деревянные сандалии.

— Ага, верно,— задумчиво вторит ему мальчик, кивая головой.— Когда мы были в Иокогаме, я заметил: волосатые<sup>2</sup> всегда строят дома на вершинах холмов или на склонах, а японцы — внизу, в долинах.

— Ну, на это есть свои причины,— продолжает отец.— В Японии часто бывают землетрясения и тайфуны. Деревянным домам нелегко устоять перед ними, и поэтому для застройки японцы выбирают защищенные от ветра низины, где не так велик риск пострадать от стихийных бедствий. Но дело не только в этом.

Японцы крайне чувствительны к контрастам света и теней и прямому освещению всегда предпочитают скрытое, а залитым светом пространствам — помещения, где свет рассеивается экраном. В повседневной жизни они избегают слишком ярких красок и склонны, напротив, к красоте неброской, спокойной. Вот почему японцы никак не могут привыкнуть к шумной жизни в каменных домах, где не надо у входа снимать ботинок. Не могут — и все тут!

— Угу-у,— задумчиво тянет мальчик, склонив голову набок,— мне тоже не нравятся каменные дома, очень уж в них холодно. Нет, не люблю дома из камня.

— Да, но такая точка зрения тоже не во всем справедлива,— словно колеблясь, продолжает отец.— Не спорю, японцам больше по душе деревянные дома, но когда всю жизнь проводишь в жилищах из дерева, глины и бумаги, это постепенно начинает отражаться и на характере людей, да и всей нации в целом, человек со временем утрачивает силу и душевную стойкость.

Тут отец пускается в рассуждения о характере европейцев и американцев. Послушать его: все их творческие способности, вся сила коренятся в их образе жизни — они живут в домах из камня, железа и бетона, едят за столами, не снимая при этом ботинок, закатывают то и дело шикарные банкеты...

Мальчик внимательно прислушивается к каждому слову отца, кивает головой, когда следует выразить свое согласие, иногда вздыхает и охает. Отец разговаривает с сыном как с равным, и мальчик внимает ему вовсе не так, как это обычно делают дети. Так уж у них заведено. И, слушая их, можно подумать, что эту беседу ведут не отец с малолетним сыном, а взрослые братья или давние близкие друзья.

---

<sup>2</sup> Имеются в виду иностранцы, европейцы.

— Все это верно,— продолжает отец,— но, когда строишь свой собственный дом, тут уж дело не только в национальном вкусе. Если речь идет о доме, где человек сам будет жить, нельзя пренебрегать практической стороной вопроса.

— Вот и я считаю: подумаешь — на...национальность!

— Так-то оно так, но разве национальный характер не определяет ваше будущее? Для нас, стариков, уже все едино. Жить нам недолго, и характер свой нам не переделать. Горбатого, говорят, могила исправит. Но если взять проблему в целом, подумать о вас, о ваших детях и внуках, было бы, конечно, неправильно исходить из одних лишь личных вкусов.

— Угу, верно.

Наступает вечер, а дождь все не прекращается. Улица становится оживленнее: мчатся такси, снуют прохожие, грочотут грузовики. Но весь этот шум и суета не имеют никакого отношения к отцу и сыну, как, впрочем, и они сами не существуют ни для водителей такси, ни для прохожих и владельцев лавчонок, стоящих вдоль тротуаров, ни для покупателей, делающих здесь свои немудреные покупки.

Вечером отец и сын возвращаются в свою лачугу — полтора метра в высоту, один — в ширину и два — в длину. Стоит лачуга, прислонясь к дому старого Яды, который давным-давно живет на этой улице. Пол внутри выстлан досками, на которых валяются циновки вперемежку с грудями соломы — вся их постель. Перед лачугой — ящик из-под пива, в нем хранятся две миски, палочки для еды, глиняный горшок без крышки и помятая алюминиевая кастрюля, в которой кипятят воду. Рядом с ящиком висится обмотанная проволокой переносная печурка, такая старая, что кажется, сними с нее проволоку — и она развалится тут же на глазах.

Отец и сын едят обычно на вольном воздухе. Глиняный горшок и кастрюлю они наполняют едой и подливой. Иногда это бывает хлеб и кусочек мяса в соусе, иногда рис с тушеными овощами и кофе, а иной раз — кусочки мяса и рыбы вперемешку с овощами, хлебными крошками и рисом — теперь, уж конечно, никто не рискнул бы определить, под каким изысканным названием значились все эти блюда в ресторанном меню. Но и отцу и мальчику это совершенно безразлично. А может, это и не безразличие; просто они стараются не думать о том, что они едят. Случается, среди

остатков риса и хлеба они вылавливают лакомые кусочки, и тогда у отца и мальчика радостно загораются глаза.

— Вот это да! — восклицает отец, ловко подцепив палочками ломтик мяса. — Редкостная удача, настоящий ростбиф, в меру прожаренный. Это большое искусство — зажарить мясо так, чтобы внутри сохранился натуральный цвет. Будешь есть?

— Спасибо, ешь сам, — отвечает мальчик и хмурит брови, — я не люблю недожаренное мясо.

— Знай же, — поучительно произносит отец, отправляя в рот выуженный из объедков кусочек ростбифа, — что в Германии и во Франции говядину вообще едят сырой. Нет, пожалуй, только в Германии. Не исключаю, что это и есть баварский способ приготовления. Сначала маринуют в лимонном соке репчатый лук и лавровый лист, потом ненадолго кладут в маринад сырую говядину. Мясо к столу подают с мелко нарезанным луком и специями и едят с черным хлебом.

— И с тертым сыром, — добавляет мальчик. — Или сыр идет к другому блюду?

— Как кому нравится, но, по-моему, тертый сыр портит вкус мяса. — Отец проглотил наконец ростбиф и, представив себе, должно быть, сырое мясо с тертым сыром, медленно покачал головой. — Н-да, в этом случае тертый сыр не годится. Он скорее...

Далее следуют подробнейшие рецепты мясных блюд, к которым идет тертый сыр.

Услышь его рассказы специалисты, они тотчас догадались бы, что он переиначивал на свой лад некогда вычитанное из книг или услышанное из разговоров. Он обладал обширным опытом, познаниями и мог вести беседы на самые разные темы. Мальчик был для него идеальным слушателем.

В теплое время года они, поужинав, отдыхали обычно на улице. Вставив в самодельный бамбуковый мундштук подобранный на улице окурок сигары, мальчик передавал его отцу, и тот, скупо затягиваясь сигарным дымом, заводил неторопливую беседу. А сын внимательно слушал, порой вставляя в разговор и свое словечко. Оба старались не касаться повседневной жизни, и потому беседа их на девяносто девять процентов носила отвлеченный, а порой и фантастический характер.

Мальчик никогда не заговаривал о матери, отец же в

своих рассказах избегал всего, связанного с женой и семейными отношениями вообще. Но как бы то ни было, семилетний ребенок не мог не думать о матери, будь она жива или уже отошла в мир иной; ведь каждый взрослый, а ребенок в особенности хранит в душе образ матери.

И все же мальчик ни разу не обмолвился о своей матери. Не говорил он и о матерях других детей. Иногда он просыпался среди ночи или, гуляя с отцом, вдруг останавливался посреди улицы и тоскливо глядел перед собой. Может быть, именно в эти минуты перед ним возникал образ матери, и тоска по материнской любви сжимала его маленькое сердце. И тогда он не пытался сдержаться, подавить в себе это чувство, однако он ни разу не поделился своими переживаниями ни с отцом, ни с кем-либо другим.

Откуда явились сюда отец с мальчиком, что за жизнь вели они в прошлом? Об этом здешние старожилы ничего не знали. Соседям неизвестны были даже их имена. Когда старик Яда, разрешивший им построить рядом со своим домом лачугу, спросил у мужчины, как его зовут, тот невесело усмехнулся и, почесав затылок, ответил, что не такая уж он важная персона и ни к чему его величать по имени.

Старый Яда давно уже жил в одиночестве. Он был одержим верой в свои деловые способности и время от времени затевал грандиозные проекты, которые неизменно с треском проваливались. Яда считал, что настоящий предприниматель должен быть тактичен и благороден, поэтому он больше не стал ни о чем расспрашивать мужчину и даже отказался от платы за землю, на которой тот построил лачугу.

Правда, великодушие это было показное, потому что никто из жителей здешней «улицы» не владел ни землей, ни домами, и Яда не был среди них исключением. Домо- и землевладельцы жили совсем в другом месте, но знали об этом лишь немногие, в том числе и исповедовавший христианскую веру господин Сайта, которому не раз приходилось выступать третейским судьей в спорах между домовладельцами и жильцами. Вот почему отказ старого Яды от арендной платы был лишь красивым жестом, призванным подтвердить широту его натуры.

Не только соседи не слышали ни разу имен мужчины и мальчика. Они и сами не называли друг друга по имени. Отец никогда не говорил мальчику «сын» или «сынок», а

мальчик, обращаясь к нему, не называл его «папа» или «отец». Они ограничивались лишь краткими словечками вроде «эй» или «послушай», как бы лишний раз подчеркивая, что между ними сложились отношения скорее дружеские или братские, а вовсе не те, какие обычно бывают между отцом и сыном...

Поздним вечером, часов около десяти, мальчик выходит обычно из лачуги и направляется к переулку Янаги, что южнее центральной улицы. Переулок Янаги славится маленькими ресторанчиками и дешевыми харчевнями, торгующими китайской лапшой, блюдами из сырой рыбы, батата<sup>3</sup> и соевой пасты. Здесь собираются любители опрокинуть стаканчик-другой, и сам переулок поэтому называют в округе «пьяным».

Мальчик сначала подходит к задней двери сусия<sup>4</sup>, поскольку эта харчевня закрывается раньше других. Накануне он оставляет здесь обычно пустую посудину.

Если его встречает хозяйка, она говорит:

— А, это ты! Холод-то какой! Сегодня гости жрали в три горла. Ты уж прости, для тебя осталось всего ничего.

Если же дверь открывает хозяин, он говорит:

— А, это ты, паренек! Бери-бери, кое-что и тебе перепало. Да, смотри, попадется сырой кусок, поджарь как следует.

Мальчик кланяется, произносит слова благодарности и умолкает. Иногда хозяин — не совсем, конечно, всерьез — приглашает его в дом, но мальчик всегда отказывается. Посудина, которую он накануне оставляет в харчевне, состоит из трех старых алюминиевых кастрюль, вставленных в проволочный каркас с ручками, — их можно нести в одной руке все сразу. Одна кастрюля предназначена для супов и соусов, другая — для овощей, мяса и рыбы, третья — для риса и лапши. Само собой, до краев они наполняются очень редко. И если можно еще с трудом отличить подливу от еды, то лишь опытнейшему глазу под силу определить, из чего приготовлена сама еда.

Мальчик заходит и в другие небольшие рестораны и харчевни, стараясь попасть в них перед самым закрытием. Это очень важно, ведь, приди он слишком рано, его встретят руганью: хочет, мол, распугать гостей, которые еще и не дума-

<sup>3</sup> Б а т а т — сладкий картофель.

<sup>4</sup> С у с и я — харчевня, где подают колочки риса с сырой рыбой, приправленной уксусом и специями.

ют собираться домой. Стоит хоть раз попасть впросак — и дожидайся потом, когда вернется к тебе хозяйская милость. А конкуренты, они не дремлют: глядишь — и уплывает хлебное местечко.

За обедками ходит в харчевни не только мальчик. Бывает, и взрослые, оставшиеся без работы, тайком стучатся в заднюю дверь ближайшего заведения, надеясь хоть чем-нибудь поживиться. Регулярно совершают обход харчевен и «чужаки» с дальних улиц. Заглядывал сюда — смешно сказать! — даже старый Яда. Правда, его гнал к дверям харчевни вовсе не голод; просто он задумал превратить сбор отбросов в большой «бизнес». Пожалуй, из всех его бесчисленных прожектов этот мог оказаться самым реальным и прибыльным, но, увы, лопнул и он из-за упрямства хозяйки харчевни «Ханахико».

— Ну, я понимаю, приходят за обедками пищие: голод же тетка, — возмущенно говорила она своим коллегам из «пьяного» переулка. — А этот ведь хочет все себе заграбастать и на отбросах делать деньги. Да разве это человек? Чем такому подонку подавать, я лучше все в сточную канаву спущу...

Мальчик прекрасно знает о подстерегающих его опасностях. Он понимает: владельцы харчевен и ресторанов не признают за ним никаких преимуществ и, ежели кто другой точнее рассчитает время и явится к закрытию харчевни, когда кончается уборка, остатки еды, безусловно, достанутся ему. В этом смысле здесь полное равенство. И стоит хоть раз упустить момент, как давняя, привычная «кормушка» перейдет в чужие руки. Такое уже случалось.

И еще одно надо было не упускать из виду: хозяева в общем-то не всегда с восторгом отдают обедки нищим.

Многим не так уж легко управиться с заведешем, и порой приходится лезть воп из кожи, чтобы кое-как свести концы с концами. Но, как известно, реклама и популярность — основа всякого процветания. Тоц ли, толст ли твой кошелек, изволь, как говорится, держать фасон. Репутация, она, глядишь, и вывезет в трудную минуту. Вот почему, вынося пищему обедки, хозяин не только тешит душу добрым делом, но и показывает всей округе: у нас, мол, дела в наилучшем виде. Это в особенности относится к владельцам маленьких харчевен, которые сами обслуживают

посетителей. В ресторанах же побогаче, с барами и официантками, пищих отнюдь не жалуют. Многое там вообще непонятно. Для чего, к примеру, иные официантки гасят окурки в тарелках с остатками пицци, кидают в них комочки косметической бумаги со следами помады, обгорелые спички, зубочистки, а бывает, и кое-что похуже? Встречаются среди них и такие, кто назло опорожняет прямо в ведра с обедками пепельницы, полные окурков...

Вот мальчик подходит к черному ходу ресторана «Риза». Стеклопанная дверь открыта, но знакомый повар, должно быть, уже ушел. Две официантки, прислонившись к кухонной мойке, дымят сигаретами и громко болтают.

— А-а, опять пожаловал! — восклицает одна из них, завидев мальчика. — Зря трудился, сегодня ничего для тебя нет.

Мальчик глядит в угол, туда, где стоит большой бак, на две трети полный обедками. Повар обычно оставял для него остатки еды в эмалированной кастрюле из-под соуса, но сэйчас кастрюли нигде не видно.

— Чего глаза пялишь?! — снова кричит официантка. — Сказано ведь, ничего нет. Проваливай-ка, нечего здесь слоняться без дела!

Мальчик молча уходит. На лице его — безразличие, и не поймешь: то ли от привычки к обидам, то ли от презрения к оскорбившей его женщине.

Хотя ему на вид не больше семи лет, он держится спокойно, как взрослый, и в выражении его лица, в интонациях заметны мудрость, пронизательность и еще усталость — усталость человека, вынесшего немало невзгод, утомление, переходящее порой в безвольную покорность судьбе.

Здесь, между заведениями «пьяного» переулка, его частенько подстерегают коварные и злые враги, и ему не всегда удается избежать встречи с ними.

Главные его враги — это собака по имени Мару и вечно шатавшаяся без дела тройца парней. Мару, вопреки своей кличке<sup>5</sup>, огромная псина с такой страшной мордой, что ее постыдилась бы даже горилла. Едва завидев мальчика, Мару всегда скалит зубы и, грозно рыча, приближается к нему.

Знатокки считают, будто крупные псы с устрашающими мордами беззлобны и спокойны. И правда, Мару почти все-

---

<sup>5</sup> Мару — Шарик.

гда спокоен и вдобавок еще труслив. Даже при виде вдвое меньшей, чем он, собачонки Мару робко отводит глаза и старается куда-нибудь спрятаться. Он никогда не дерется с другими собаками и не смеет обляять незнакомых людей. Но стоит мальчику попасться ему на глаза в «пьяном» переулке, он тотчас ощеривается и, словно похваляясь страшным оскалом клыков и всей своей могучей статью, надвигается на него с грозным рычанием.

Быть может, между людьми и животными тоже существует несовместимость характеров, и Мару невзлюбил мальчика, который считает себя слабее пса и, встретив его, сразу выбрасывает из кастрюль объедки. Если объедков нет, он открывает одну за другой все три кастрюли и показывает их Мару: видишь, мол, пусто.

В тех случаях, когда мальчик опорожняет кастрюли на землю, он больше уже не заходит в харчевни и возвращается домой ни с чем. Мару же, порычав для остратки, уходит, даже не прикоснувшись к объедкам.

Ну а трое парней — самые что ни на есть обыкновенные хулиганы, из тех, что без всякой нужды и причины запугивают и тиранят слабых и при этом считают себя истинными героями. В этом для них вся радость жизни. Старшему из этой троицы лет пятнадцать, остальные чуть помоложе. Внешне они ничем не отличались бы от прочих подростков из солидных семейств, если бы в модных своих рубашках и брюках не продирали нарочно дыры, чтобы придать себе более лихой и бывалый вид. Ходят все трое развинченной походкой, словно все суставы у них разболтаны вконец.

Завидев мальчика, вся троица неизменно издает боевой клич индейцев и начинает кружиться вокруг него в каком-то дикарском танце. Время от времени они награждают его тумаками, дергают за волосы, за уши, отбирают кастрюли и вытряхивают их содержимое прямо в уличную грязь.

Мальчик молча сносит издевательства и никогда не пытается сопротивляться. Не потому, что чувствует разницу в силе, просто он, наверное, осознает бессмысленность всякого сопротивления. А может быть, воспринимает хулиганов как неизбежное зло, которое каждый из нас должен терпеть в этом мире.

Пресытившись своими выходками, бандиты награждают мальчика хорошим пинком и удаляются восвояси. И только когда они скрываются из виду, мальчик дает волю слезам.

Он беззвучно плачет, собирая разбросанные кастрюли. Слезы ручьями текут по его щекам, но он упрямо молчит. Он никогда не плачет в голос и, вернувшись домой, не жалуется отцу. Тихонько прокравшись в лачугу, чтобы не потревожить отцовский сон, он ложится на грудку тряпья, замепляющего ему постель. Нередко отец, успев уже к этому времени основательно выспаться, открывает глаза и заводит обычный свой разговор — бывает, чуть ли не до рассвета.

— Я вот все лежу и думаю,— говорит отец,— как бы нам при планировке дома не забыть о воротах. Ведь ворота — это все равно что лицо дома. Достаточно один раз глянуть на лицо — и можно определить характер человека. В общих чертах, конечно.

— Угу, верно.

— Правда, поговорка гласит: не суди о человеке по его внешности, но, с другой стороны... Погоди, ты вроде бы засыпаешь?

— Нет-нет, мне совсем не хочется спать,— спохватывается мальчик и усиленно трет глаза.

Не удержавшись, он зевает. После огромного нервного напряжения в «пьяном» переулке он чувствует неодолимую усталость. Ноги словно ватные, глаза закрываются сами собой, но мальчик изо всех сил борется со сном, стараясь не упустить ни слова из того, что говорит отец. А отец не замечает состояния сына, а может, и замечает, но чувствует, что должен говорить, говорить, говорить. «Если я прервусь,— думает он,— может случиться что-нибудь неприятное». И продолжает свои бесконечные разглагольствования о различных стилях и эстетических особенностях ворот. Мальчик, с трудом одолевая сон, терпеливо слушает и со всем соглашается.

Еду они разогревают редко. Зимой, правда, кипятят воду, но объедки, рассортировав, обычно съедают холодными.

— Холодная пища очень полезна для здоровья,— поучает отец.— Возьми, например, собак. Пес, которого холят и лелеют, всегда беспомощен и хил, а у бродячей собаки, набивающей брюхо отбросами и спящей на голой земле, и зубы в порядке, и желудок работает безотказно.

— Ага, верно! Так оно и есть,— вторит мальчик.

— В далеком прошлом все живые существа питались сырой пищей. О-о, да никак это свиная отбивная... Будешь есть?

— Спасибо, ешь сам.— Мальчик мотает головой.— Мне тоже попался кусочек.

Тщательно прожевывая остатки отбивной, отец развивает теорию о том, что теплая одежда и горячая пища ослабляют человека, делают его подверженным чуть ли не всем болезням и, напротив, холодная еда и жизнь под открытым небом укрепляют здоровье и силы.

Однако, отстаивая естественность и благотворность постоянного пребывания под открытым небом, отец продолжает мысленно строить дом для себя и для сына, стараясь довести его до совершенства. Оба решили, что ограда вокруг дома должна быть каменной, а ворота кипарисовыми и непременно с козырьком. Европейские комнаты на первом и втором этажах решено оборудовать кондиционерами и провести водяное отопление. В японской же части дома будет отведена специальная комната для чайных церемоний. Весь участок перед фасадом займет зеленая лужайка в английском стиле. Примерно треть участка вдоль западной стороны дома должна занимать дубовая роща; намечено также высадить молодые кипарисы. Цветов же вокруг дома не будет.

Так представляется отцу и сыну окончательный вариант их дома с усадьбой, к которому они пришли, тщательно обдумав все детали.

Будущий дом кажется им настолько реальным, что разбуди их среди ночи, они тотчас вспомнят любую его деталь.

— По-моему, пришло время подумать и о мебели,— с полной серьезностью заговорил однажды отец, бредя с мальчиком по улице.— Европейские комнаты я хотел бы обставить в шотландском стиле. Вот так...— И он выводит рукой в воздухе какие-то фигуры.— Самый подходящий для этого материал — толстые дубовые доски. Все должно быть как в старом шотландском поместье; нет, лучше, пожалуй, как в загородном охотничьем домике. Обстановка должна сочетать деревенскую простоту с изысканным аристократическим вкусом, но только без всякой вычурности.

Мальчик склоняет голову набок и, не находя, должно быть, подходящих слов, молча трет ладонью щеку и как-то странно то опускает, то поднимает правое плечо.

— Сложна, конечно, и проблема кухни,— продолжает отец, сощутив глаза, словно пытаясь представить себе эту воображаемую кухню.— Делать ли ее в японском стиле? —

И он снова чертит фигуры в воздухе. — Или же в западном? В последнем случае придется оборудовать ее газовой плитой и кухонным столом, покрытым стальным листом, чтобы удобней было поджаривать бифштексы.

— Н-да... — тянет мальчик, хмуря брови. — С этим, должно быть, не надо спешить.

— Так-то оно так. Да я, собственно, и не спешу. Не в спешке дело. Но ведь с домом и садом у нас все решено. Значит, они, считай, все равно что построены. Теперь очередь за кухней.

— Вот оно что... Тогда кухня...

Отец скребет заросшие щетиной щеки и принимается взвешивать все «за» и «против» японской и европейской отделки кухни. Найдена новая тема для бесед, и отец с сыном постараются продлить их как можно дольше. Бродя по улицам, отдыхая на обочине дороги и лежа по вечерам в тесной и темной лачуге, они будут разбирать кухонную проблему во всех подробностях, тщетно пытаясь обмануть пустые, урчащие желудки.

К великому, должно быть, сожалению отца, когда их дискуссия снова коснулась мебелировки европейской гостиной, мальчик умер.

Это случилось душевной сентябрьской ночью в их нищенской, жалкой, как собачья конура, лачуге. Мальчик угас неправдоподобно быстро, неделю промучившись от жестокого расстройства желудка. Трудно сказать, в чем была истинная причина его смерти. Однажды утром, когда приближалось время завтрака, мальчик разжег печурку. Топливом ему служили собранные накануне сырые щепки и ветви. Дым разбудил отца, который высунул голову наружу и удивленно спросил, для чего это мальчик затопил печурку, ведь кипяток нужен зимой, а сейчас, в этакую жару, можно обойтись и холодной водой.

— Да нет, я не собираюсь кипятить воду. — Мальчик обернулся к отцу, глаза его ввалились, под ними темнели черные круги. — Еда вся сырая, надо ее сварить.

— Сырая, говоришь? Ну-ка покажи.

Мальчик снял с огня кастрюлю и поднес к отцу.

— Да ведь это же маринованная скумбрия! — воскликнул отец, потянув носом. — Ее маринуют с солью и уксусом. А ты говоришь, сырая еда!

— Хозяин харчевни, где продают суси, сказал, что ее надо обязательно сварить.

— Он глубоко ошибается.— Отец затряс головой.— Маринованную скумбрию не варят.

— Но ведь хозяин-то знает,— пытался возразить мальчик, однако, увидев, как отец решительно мотнул головой, он со смехом, похожим на рыдания, опустил кастрюлю на землю.

К вечеру у обоих начались рези в желудке и понос. Возможно, они отравились маринованной скумбрией, но утверждать это было бы трудно. Скумбрия казалась вполне съедобной, вкусно пахла, и ничего необычного они в ней не заметили. Да и ели они в тот раз не только скумбрию: в кастрюле было такое месиво, что никто не смог бы установить, из чего, собственно, оно состояло.

— Нет, не маринованная скумбрия тому виной,— рассуждал отец; он хотел не столько оправдаться, сколько уточнить симптомы болезни.— Если бы мы отравились скумбрией, первым делом у нас появилась бы крапивница и началась рвота. Но ведь ни у тебя, ни у меня этого не было. Вот и думается мне, не пищевое это отравление. Тут все дело в переохлаждении желудка.

— Угу, верно, пожалуй, так оно и есть,— кивает головой мальчик, морщась от невыносимой рези в животе.

Под обрывом, над которым возвышается храм Сэйгандзи, есть полуразвалившаяся общественная уборная. Кое-как сколоченные подгнившие дощечки не позволяют человеку укрыться в ней, и ею давно перестали пользоваться. Лишь отец и сын, мучимые жестоким поносом, протоптали туда тропинку от своей лачуги.

Спустя три дня отец выздоровел. Боли в желудке утихли у него к вечеру следующего дня, а на третий день прекратился и понос.

Но состояние мальчика оставалось тяжелым и с каждым днем все ухудшалось. Он так ослабел, что не мог даже дотащиться до обрыва.

— Все будет в порядке, ты не волнуйся,— подбадривал мальчик отца.— Я скоро поправлюсь.

— Да я несколько не беспокоюсь. В подобных случаях единственный метод лечения — голодание, но, конечно, до какого-то допустимого предела,— отвечает отец, поглаживая живот.

Мальчик виновато глядит на него. «Отец уже выздоровел, и ему надо поесть»,— думает он. Мальчик понимает, что отец очень голоден, и, говоря о пользе голодания, скорее

всего старается убедить в этом не столько сына, сколько самого себя.

— Эх, если б я мог ходить... — говорит мальчик. — Но ничего, скоро я встану и тогда...

— Что ты, что ты, ни в коем случае! — машет рукой отец. — Я говорю это вовсе не для того, чтобы послать тебя за едой. Уж если станет невоготу, я и сам могу сходить в «пьяный» переулочек. Но пока еще я не настолько голоден. От этого поноса только одно лечение — голод. И чем дольше не есть, тем лучше. Человек, знаешь ли, без пищи может прожить десять дней, а то и пятнадцать.

Сморщившееся лицо мальчика кривится от боли, он подтягивает колени к самому подбородку и до крови закусывает губы, стараясь не закричать от мучительного приступа боли.

Отец как будто не замечает этого. Он отводит глаза в сторону и, приподняв висевшую над входом тряпку, выходит из лачуги.

Состояние мальчика стало угрожающим. Он совсем отошел, кожа сморщилась, как у старика, началось кровотечение.

А что же отец? Неужели он по-прежнему ничего не замечает? А может быть, он просто делает вид, что ничего не происходит, стремясь обмануть самого себя?

Выйдя из лачуги, отец сует ноги в поношенные гэта и садится на ящик из-под пива. Лицо его ничего не выражает, сонный взгляд устремлен куда-то вдаль. С опаской покосившись на свою лачугу, он тяжело вздыхает.

— Послушай, — обращается он к лежащему в лачуге мальчику, — знаешь, я передумал. Пожалуй, не стоит обставлять гостиную в шотландском стиле.

Стараясь подавить голодное урчание в желудке, он торпливо возвышает голос и с воодушевлением излагает новый замысел мебелировки гостиной.

(Эй, кончай-ка свои рассуждения, бери мальчика на руки — и скорее к врачу! О плате за лечение не думай — отдашь как-нибудь потом. Немедленно к врачу! Нельзя оставлять ребенка в таком состоянии в грязной лачуге, на голой земле. Его надо сейчас же доставить в больницу, иначе конец! Послушай, неужели ты все еще не понимаешь?.. Скорее — не то будет поздно...)

Отец лениво поднимается с ящика, долго зеваает и потягивается.

Прежде чем завилать хвостом при виде хозяина, собака обычно судорожно зевает, широко раскрыв пасть. Вот и отец мальчика тоже зевает, хотя вроде бы и не время ложиться спать. Может, он зевает от скуки или от растерянности? А может быть, есть что-то общее между ним и собакой? Пожалуй, нет. Ведь чувства его вовсе не схожи с той радостью собаки, которая зевает, глядя в лицо хозяину.

К исходу пятого дня мальчик почти уже не приходил в сознание. Иногда он начинал что-то бормотать, но понять его было невозможно, а когда отец окликал его, мальчик ему не отвечал.

И отец бесцельно слонялся, то заходя в лачугу, то выходя из нее. К ребенку он так ни разу и не приблизился и не дотронулся.

Он вел себя не как взрослый мужчина, а как беспомощный младенец, брошенный родителями посреди чужой, незнакомой улицы, не знающий, кого умолять о помощи, и готовый вот-вот расплакаться.

Вечером, часов в десять, отец, прикорнувшись у входа в лачугу, вдруг очнулся, вроде бы приняв наконец какое-то решение, и протянул руку к кастрюлям.

— Нет-нет, человек не может существовать без пищи,— проговорил он себе под нос.— Даже больного вредно бесконечно морить голодом.— И, утвердившись, должно быть, в своем решении, поднялся и взял кастрюли.

— Я отлучусь ненадолго,— крикнул он в сторону лачуги.— Добегу до «цьяного» переулка и сразу обратно. Принесу тебе чего-нибудь вкусенького.

Шагая по ночному городу, он старался вспомнить названия харчевен, которые мальчик не раз упоминал в разговоре. Сусия... «Ханахики»... Спустя час он вернулся, что-то жуя на ходу, поставил кастрюли на землю и заглянул внутрь лачуги.

— Вот и я,— смущенно сказал он.— Сообщил хозяйке «Ханахики», что у тебя расстроен желудок, и она прислала тебе кое-что повкуснее.

— Послушай,— раздался вдруг голос мальчика.— Я все забываю тебе сказать, надо бы к дому пристроить еще и бассейн.

Голосок у мальчика слабый и чуть охрипший, но эти слова он произнес с ужасающей ясностью. Отец чуть было не расплакался, но, совладав с собой, улыбнулся.

— Ага, верно, так мы и сделаем,— согласился он.— Вы-

строим все как ты хочешь!.. Ну, раз уж ты заговорил — значит, дело пошло на поправку.

«Кризис миновал, — решил отец, — известное дело: у детей воля к жизни особенно сильна». Лицо его светлело, и, весело насвистывая — чего уж давно за ним не водилось, — он разжег огонь в печурке.

Когда же он сварил в кастрюле горсточку риса и вошел в лачугу покормить сына, мальчик был мертв.

На другое утро исповедовавший христианскую веру господин Сайта, проходя мимо лачуги, увидел отца мальчика. Тот сидел на ящике из-под пива и, глядя в небо ничего не видящим взглядом, что-то бормотал себе под нос. В руках у него была алюминиевая кастрюля.

— Доброе утро, — приветствовал его Сайта. — Как себя чувствует мальчуган?

Отец устался на Сайту, словно видел его впервые в жизни.

— Спасибо, у него все хорошо.

— Я слышал, малыш был болен. Значит, уже поправился? — спросил Сайта.

— Да, благодарю вас, он выздоровел, — ответил отец, как бы отмахиваясь от назойливой мухи, и отвернулся.

Соседи, конечно, не могли не видеть, как в последние дни он с мальчиком на руках то и дело ходил к обрыву близ храма Сэйгандзи. И, наверное, кто-то из них рассказал об этом господину Сайте. Но при столь откровенном нежелании собеседника поддерживать разговор Сайте ничего не оставалось, как пробормотать несколько слов о чересчур жаркой погоде и поспешно удалиться.

С тех пор никто больше не видел мальчика. Первым заметил его отсутствие старый Яда. Когда он спросил у отца, где ребенок, тот ответил, что отправил его к матери.

— Да неужто у парнишки есть мать? — изумился Яда.

— А у тебя разве не было матери?

— Имелась... Имелась, конечно, мамаша, — смутился Яда. — Без матери-то небось и дети на свет не рождаются...

— Должно быть, так, — сердито подтвердил отец и отвернулся. Старый Яда хотел его расспросить еще кое о чем, но, встретив равнодушный и холодный взгляд, промолчал.

Вскоре кто-то пустил слух, будто видел, как однажды ранним утром, когда не растаяла еще предрассветная мгла, отец с мальчиком на руках вышел из лачуги и направился к храму Сэйгандзи. Одни утверждали, что он решил бросить

больного ребенка — надоело, мол, с ним возиться; другие говорили, будто у малыша где-то еще жива мать и отец отвез его к ней. Но в общем-то оба они не очень интересовали соседей, и вскоре разговоры о мальчике прекратились.

Миновал сентябрь, прошел и октябрь. Каждый вечер часов в одиннадцать отец отправляется теперь в «пьяный» переулочек за объедками и, возвратившись в лачугу, укладывается на боковую. Утром он выходит во двор, ест в одиночестве, моет три старые кастрюли, относит их в «пьяный» переулочек и оставляет у хозяйки «Ханахико». А затем целый день бродит где-то по городу. К полуночи он возвращается в свою лачугу и валится на постель.

В один из ноябрьских дней к нему прибилась собака. Это был коротконогий полуторамесячный щенок, беспородный, черно-белой масти, с хитрой морщинистой мордочкой и смешным, вздернутым носом. Собака повсюду сопровождает его, а вечером, когда они возвращаются в лачугу, залезает к нему в постель.

— Да-да, именно так, — бессвязно бормочет он, бредя по улице. — Но погоди! Так утверждать было бы тоже неверно. Все это не так просто, как кажется на первый взгляд. Бывает иногда и по-другому...

Щенок семенит за ним, стараясь прижаться к его ногам. Время от времени он поднимает свою мордочку, глядит на хозяина и виляет хвостом, как бы говоря: «Угу, верно». Когда же хозяин обращает внимание на собаку, она сильнее прежнего виляет хвостом и смотрит ему в глаза, словно пытаясь его успокоить: мол, я здесь, рядом, ты не волнуйся, все в порядке, все будет хорошо. Случается, он подолгу глядит на щенка, и тогда на лице у него появляется какое-то странное выражение: то ли он хочет пожаловаться собаке, то ли горюет, зная, что она все равно его не поймет.

(Послушай-ка, что ты сделал с ребенком? Куда подевал умершего сына? Неужели ты так скоро забыл о нем? Разве ты не вспоминаешь бедного мальчугана, который собирал для тебя объедки, кормил тебя, терпеливо выслушивая твою болтовню, бродил с тобою по улицам в дождь и в холод, угождал тебе и ухаживал за тобой, забывая про сон и усталость?! Отвечай же, что ты сделал с мальчиком?)

— Ничего, ничего особенного, — бормочет он, бредя по улице. — Ничего особенного. Так ли, этак ли — все одно...

С неба сеет мелкий холодный дождь. Близится декабрь, и в этот послеполуденный час прохожие попадают редко.

Дорога понемногу намокает, влажные булыжники отливают холодным блеском. Опустив хвост и понутив голову, отяжелевший от намокшей шерсти, щенок устало следует за мужчиной. На перекрестках, не дожидаясь хозяина, он заворачивает за угол, словно зная наперед, куда лежит их путь. Но хозяин не всегда поворачивает за ним — иногда он продолжает идти прямо или поворачивает в другую сторону. Тогда собака останавливается и удивленно глядит на него до тех пор, пока он не оборачивается и, молча повернув назад, не следует за нею, покорный и безвольный...

Дорога, по которой он поднимается к храму, все время идет в гору и кончается у ворот храма, шагах в тридцати за полицейской будкой.

Он входит в ворота, пересекает двор перед главным зданием храма и направляется к кладбищу. Щенок неотступно следует за ним. Дождь, правда, не очень сильный, но зарядил, должно быть, надолго. Голые ветки деревьев роняют на хозяина и собаку тяжелые капли воды.

Кладбище довольно четко разделено на участки. Здесь есть и свои «дворцы», и «коттеджи», и «ночлежки». За богатыми могилами тщательно ухаживают: их регулярно посещают в течение пятидесяти, а то и ста лет родственники усопших, затем дети родственников. За «ночлежками» же через год-другой никто уже не присматривает, и они постепенно разрушаются. Немало здесь безымянных, всеми забытых могил, к которым давно не прикасалась рука человека.

Отец подходит к западному краю кладбища и останавливается у пустыря шириной метра в два, за ним начинаются заросли бамбука, а справа и слева торчат несколько чахлах, высохших деревьев. Этот ничем не примечательный клочок глинистой земли кое-где порос пожелтевшим бурьяном. Присев на корточки, отец долго глядит на маленький холмик из красной глины посередине пустыря.

— Знаешь, насчет бассейна я, пожалуй, с тобой согласен,— тихо говорит он.— Думаю, лучше всего соорудить его в центре двора. Выложенный белым кафелем бассейн посреди зеленой лужайки... Не плохо, как, по-твоему? Правда, все это будет выглядеть чуть-чуть по-буржуазному...

Вымокший щенок мелко дрожит от холода и плотней прижимается к ноге хозяина. Время от времени собака про-

сительно поглядывает на него и тихонько скулит, как бы говоря: «Пора домой!»

Его заросшие щетиной щеки, давно не чесанные волосы и жалкая одежда так намокли, что из них можно выжимать воду. Капли дождя стекают со спутанных волос на лоб, скатываются по щекам, по подбородку, по шее.

— Конечно, трудноато будет оборудовать устройство для подачи и стока воды, — шепчет он, проводя ладонью по мокрому лицу. — Поскольку бассейн расположен на возвышенном месте, летом с водой начнутся перебои. Значит, надо позаботиться о баке, а также о сливе воды, когда она будет в избытке.

Щенок тихо скулит.

Он поднимает руку, пытаясь нарисовать что-то в пространстве, потом бессильно опускает ее и печально склоняет голову. Затем, словно обращаясь к собеседнику, стоящему тут же, рядом, он говорит:

— Но ты не беспокойся, я его обязательно построю. Жаль, что ты больше ни о чем меня не просишь. Я рад бы исполнить и другие твои желания.

Он опять вытирает ладонью капли с лица. Небо темнеет. Содрогаясь всем телом, щенок негромко скулит, словно взывая к человеческой жалости.

Впервые я повстречался с Масу-сан в харчевне «Тэнтэцу», где подают тэмпура. Я частенько захаживал сюда, когда получал небольшой гонорар. Заказывал порцию тэмпура, не спеша выпивал бутылочку сакэ. Зимой я прихватывал с собой маленькую фарфоровую грелку с углями, летом — веер. И конечно же, в любое время года — книгу. Я устраивался где-нибудь в укромном уголке, ел тэмпура, не отрывая глаз от книги, и потягивал сакэ. Нынче мне думается, что вел я себя в ту пору по-стариковски. Я близко подружился с хозяевами «Тэнтэцу», с ее завсегдатаями. Когда в харчевню привозили свежую морскую живность, хозяйская дочка Охана сразу же сообщала мне об этом.

Харчевня была в старом стиле: в переднем крошечном зале с земляным полом стояли два стола, а в следующей за ним комнате пол был устлан циновками-татами. Гостей усаживали на циновки перед низенькими квадратными столиками, предлагая плоские подушечки, чтобы было помягче.

Масу-сан было лет пятьдесят. Он был низок ростом и очень кривоног. На щеках и подбородке жесткой щеткой торчала неопрятная седая щетина. На голове пучками росли короткие, толстые волосы, окаймляя круглую лысину.

Масу-сан приходил в «Тэнтэцу» со своей выпивкой. Приносил он сивуху, разбавлял на две трети водой и просил подогреть<sup>1</sup>. Закуской служили тэмпура, но своеобразные.

Будь то креветки, рыба или другая морская живность, па тэмпура шли только хвосты и головы. Остальное — съедобную часть — жарили отдельно, заворачивали в бумагу, и он уносил сверток домой.

Здесь я позволю себе сделать небольшое отступление. Подобными же тэмпура из креветочных голов угощал меня как-

---

<sup>1</sup> В подогретом виде обычно пьют рисовую водку (сакэ) крепостью 15—18 градусусов.

то писатель Хаяси Фусао. Эти тэмпура были изготовлены по его заказу в одной из харчевен близ Гиндзы, и Хаяси долго распространялся о том, сколь вкусно и богато кальцием это якобы придуманное им самим блюдо.

— Люди выбрасывают, — без конца повторял он, — выбрасывают такую прекрасную вещь. Да, да, все выбрасывают, все. А ты ешь, ешь. Удивительно вкусно, — угощал он меня, сам между тем к еде не притрагиваясь.

Усиленно поощряемый Хаяси Фусао, я попробовал зажаренную голову креветки. Не знаю уж, насколько богата она была кальцием, но проглотить ее оказалось совершенно невозможно. Поэтому я потихоньку выплюнул ее в салфетку и бросил под стол, подумав при этом, что правильно делают люди, когда такое выбрасывают, а Хаяси Фусао просто любит оригинальничать.

Теперь-то я знаю: у Хаяси Фусао, похвалявшегося своей выдумкой, был предшественник по имени Масу-сан, который на двадцать лет раньше придумал это необыкновенное блюдо и не в пример мне съедал все дочиста, обсасывая каждую голову, каждый плавник, каждую косточку.

В следующий раз я повстречался с Масу-сан на улице. Я сидел у канала и делал наброски, когда мимо прошел к мосту мужчина. Он нес на закорках пожилую женщину и оживленно с ней разговаривал. Меня крайне удивило, что ни прохожие, ни игравшие поблизости мальчики не обратили на эту пару никакого внимания, хотя, безусловно, ее заметили.

Спустя несколько дней я столкнулся с этой странной парой на дороге и, бросив взгляд на ноги мужчины, сразу вспомнил: да ведь это тот самый человек, который поедал креветочные головы в харчевне «Тэнтэцу»!

И еще раз я встретил их, когда рисовал бани «Умэ-но-ю». Помню, меня удивило, что мужчина с женщиной на закорках спокойно вошел в женскую баню.

Когда я рассказал об этом в ресторане «Недогава», старый рыбак пьяница Хэйдзиро воскликнул:

— Это же Масу-сан! Он нес свою жену в баню. Он сам моет ее, а потом относит домой. А что тут такого? Ведь не молодой человек — старик. Я и сам, когда нужно, преспокойно захожу в женские бани, и женщины даже внимания на меня не обращают. Им на такое дело тьфу, да и только!

Распрашивал я о Масу-сан и своего друга Такасину. Тот сообщил мне, что в прежние времена Масу-сан считался

первым забиякой в деревне, что у него была кличка Уточка, что по протекции хозяина консервной фабрики «Дайтё» он устроился на службу в профсоюз рыбаков и что тот же хозяин отзывался о Масу-сан так: «Глаза бы мои на него не глядели». Кличку Уточка Масу-сан получил из-за того, что ковылял на своих кривых ногах вразвалочку — в точности как домашняя утка.

А Хэйдзиро в следующий раз рассказал вот что.

Масу-сан с юных лет прослыл буяном и забиякой, к тому же он обладал необыкновенной силой. В семнадцать лет он мог без отдыха с двумя мешками риса на плечах пробежать от центрального канала до морской пристани — расстояние немалое. Характер у него был вспыльчивый, неровный. Всякий раз, когда Масу-сан напивался, он ввязывался в драку и уж обязательно избивал нескольких человек до крови. В начальной школе он дотянул лишь до третьего класса — и не потому, что был лишен способностей: стоило учителю сделать ему малейшее замечание, как он мгновенно вспыхивал и бросался на обидчика с кулаками, потом крушил в классе все, что попадало под руку. Учителя много раз совещались, обсуждали его поведение и наконец решили перевести его в другую школу, в Кацусики, причем пообещали даже оплачивать проезд на пароходе до Кацусики и обратно. Все это было еще до введения системы обязательного обучения, и, даже если бы Масу-сан не посещал школу в Кацусике и об этом узнал инспектор, никакой бы ответственности прежняя школа не несла. Масу-сан, конечно, в новую школу не ходил, хотя деньги на проезд до Кацусики, как утверждал старик Хэйдзиро, получал исправно в течение нескольких лет.

Масу-сан без конца менял работу, он не удерживался на одном месте более года. А каждые год-два внезапно исчезал из дому. Где он пропадал, что делал — никто не знает. В связи с этим у него были даже неприятности в призывном участке, куда он не явился по повестке: в очередной раз был в бегах. Медкомиссию он все же прошел, хотя и с опозданием на год. Масу-сан освободили от воинской службы по причине малого роста. Председатель призывной комиссии сильно сокрушался. «Такой удивительной силы человек! Кому же и быть солдатом, как не ему!» — приговаривал он с досадой.

В двадцать три года Масу-сан женился. Ему сосватали восемнадцатилетнюю Кимино — работницу консервной фабрики. Отец Кимино был потомственным рыбаком. Семья большая — одних детей восемь человек, и Кимино была вы-

нуждена работать с двенадцати лет. В семье ее не особенно любили и, когда появилась возможность выдать ее замуж за Масу-сан, сразу же дали согласие, не потрудившись даже сообщить об этом самой Кимино. Масу-сан выложил пять бумажек по одной иене и велел, чтобы Кимино отвели к нему.

— Узнав об этом, девушка от страха выскочила из дома и убежала,— рассказывал Хэйдзиро.— И ее можно понять: парень ведь был первый забияка в деревне. Все переполошились не на шутку — решили, что Кимино наложила на себя руки.

Спустя несколько дней Кимино задержали, доставили в полицейский участок, откуда Масу-сан и привел ее к себе в дом.

Супружество не внесло больших перемен в жизнь Масу-сан и Кимино. Кимино продолжала ходить на консервную фабрику. Изредка там появлялся и Масу-сан, выполняя время от времени разную черную работу. Кроме того, он сопровождал обычно хозяина фабрики, когда тот отправлялся на охоту. Женитьба нисколько не повлияла на характер Масу-сан. Не было дня, чтобы он не напивался, не буянил и не ввязывался в драку. Однажды управляющий фабрикой не выдержал и заявил, что увольняет его с работы. Масу-сан со смехом воспринял эту угрозу.

— Подумаешь, напугал! — с презрительной усмешкой сказал он управляющему.— Я прихожу на фабрику когда пожелаю. Никто меня сюда на работу не нанимал. Интересно узнать, как это вы можете уволить человека, которого не нанимали.

Управляющий пожаловался хозяину, но хозяин ответил: «Этот парень спас мне однажды жизнь — пусть поступает как хочет». Хозяин не объяснил, каким образом Масу-сан оказался его спасителем, но управляющий был вынужден отступить.

С той поры Масу-сан стал почему-то особенно жестоко издеваться над женой. Обычно он начинал с того, что требовал объяснений: отчего, мол, ты не захотела идти за меня и убежала? Скажи честно: у тебя был другой парень? И, не дожидаясь ответа, начинал избивать ее и пинать погами. Кимино просила пощады, говорила, что убежала от страха, что никакого парня у нее не было — об этом знают все, в том числе и Масу-сан. «Я нехорошо поступила, простите меня», — тихо повторяла Кимино, не пытаясь ни защищаться

от побоев мужа, ни бежать. Она лишь прикрывала руками голову и сжималась в комок под безжалостными ударами.

— Мы жили по соседству, — продолжал Хэйдзи́ро. — Да и теперь живем там же. Сколько раз я ходил к Масу-сан, просил утихомириться — ведь все у нас было слышно.

Потом Хэйдзи́ро перестал его уговаривать, так как Масу-сан только распался, обвинял жену в том, что она выставляет его на позор перед соседями, и избивал ее еще ожесточеннее. Сивяки никогда не сходили с тела Кимино, и она, стыдясь этого, перестала бывать в общественных банях и мылась холодной водой в тесной кухоньке.

Масу-сан снова начал пропадать из дому. Без всякого предупреждения он мог исчезнуть на полгода, а то и на год. Писем не писал, возвращался всегда неожиданно и вел себя так, будто ушел накануне утром. Если заставал Кимино дома, требовал еды и водки, если же она была на фабрике, отправлялся в забегаловку «Ямадзакия» и посылал рассыльного к ней за деньгами.

Так прошло двадцать лет. Масу-сан исполнилось сорок пять. Хэйдзи́ро это хорошо помнил, поскольку они были одноклассниками. В тот день Масу-сан вернулся после годичной отлучки и сразу же накинулся на жену с кулаками, попрекая ее тем, что она — это он точно знает — в его отсутствие завела любовника. Устав, он послал Кимино за водкой, выпил и снова принялся истязать женщину.

— Я просто не находил себе места: уж очень жестоко он ее избивал, — вспоминал Хэйдзи́ро. — Было часов десять вечера, когда жена потребовала, чтобы я пошел за полицейским. Я отказался, потому что знал — это только подольет масла в огонь. И мы, забрав с собою детей, ушли к пристани — только бы не слышать душераздирающие вопли.

Спустя час они возвратились обратно. В доме Масу-сан царил тишина. Хэйдзи́ро со страхом подумал, что сосед убил жену.

Но Кимино была жива. На следующее утро она постучала в кухонную дверь соседей и попросила одолжить ей немного риса. Под глазами у нее были огромные синяки, лицо страшно распухло. Болезненно морщась, она волочила левую ногу. Уже потом Хэйдзи́ро узнал, что нога у нее была сломана, и доктор, которого вызвали, просто не мог поверить, чтобы Кимино без посторонней помощи могла добраться до соседей. Осмотрев Кимино, доктор сказал, что она навсегда останется хромой — даже операция не поможет.

Кимино уже не могла ходить на фабрику и занялась па-домной работой, шила рыбацьи робы и детские ползунки. Заказы на это перепадали часто, поскольку местные женщины, как правило, работали и им выгоднее было заказать по дешевке, чем самим тратить время на шитье.

А Масу-сан с той ночи стал другим человеком. Он начал работать на консервной фабрике и, хотя по-прежнему выпивал, никогда больше не скандалил и не ввязывался в драку. Перестал истязать жену. Кимино и в самом деле стала хромой, и Масу-сан теперь сам ходил за покупками, за водой, колот дрова — короче говоря, выполнял всю тяжелую работу по дому. Мало того, он даже носил жену в баню.

— И все же я не мог поверить, что человек способен так перемениться,— продолжал свой рассказ Хэйдзиро.— Однажды я не выдержал и напрямик сказал ему: ты, мол, просто переродился, гляжу на тебя и не пойму — тот ли это Масу-сан?

Тогда он усмехнулся и сказал:

— Помнишь, хозяин Восточной рыбопроизводной станции подложил однажды наседке утиное яйцо и она вместе с цыплятами высидела утенка? Утенок есть утенок. Когда он немного подрос, он направился к рыбному садку и поплыл. И в этом не было ничего удивительного. Ведь утенок когда-то должен был стать уткой. Вот и я наконец стал самим собой.

Посещая «Тэнтэцу», я постепенно сблизился с Масу-сан. Когда в кармане заводились лишние деньги, я угощал его пивом или выставлял бутылочку сакэ. Масу-сан с достоинством принимал угощение и, в свою очередь, предлагал мне отведать лежавших горкой на его тарелке тэмпура — тех самых, с рыбьими головами, хвостами и плавниками. Попробуй я их тогда, не обмишулился бы потом с Хаяси Фусао. Но я никак не мог решиться съесть хотя бы одну тэмпура с тарелки Масу-сан.

Однажды, когда мы уже подружились, я сказал:

— Смотрю я, как вы несете на спине жену в баню, и как-то теплее на душе становится. А ведь, должно быть, нелегкая это ноша.

Масу-сан на мгновение смущенно потупился, покачал головой и, тяжело вздохнув, сказал:

— Пустяки. По сравнению с тем злом, которое я причинил ей, это такая мелочь, что и говорить не стоит. Может быть, вам неизвестно, но хромой моя жена стала из-за меня.

Я таскал ее по всему дому за волосы, бил чем попало. Однажды, совсем потеряв разум, я так ударил ее, что сломал ей ногу. В ту минуту я не понял, что случилось, но жена как-то странно вскрикнула, я на мгновение отпустил ее, и она упала на пол. Упала — и так поглядела на меня... А потом сказала: «Прошу вас, не убивайте!..»

Масу-сан смущенно опустил глаза и потер заросший щетиной подбородок.

— «Прошу вас, не убивайте!» — помолчав, повторил он.— Она так это сказала, что я вдруг понял, сколько мучений она вытерпела от меня за двадцать лет. Понял в единый миг! И поверите ли, я заплакал. Я, мужчина, заплакал, как малый ребенок.

Я поверил, что именно так все и было. И хотя с деньгами у меня в тот день было негусто, я заказал для Масу-сан еще одну бутылочку сакэ.

## Мандариновое дерево

Сукэ влюбился в Оканэ. Он служил матросом на судне «Дайтё-мару», а Оканэ работала поденщицей на консервной фабрике «Дайтё» — лущила устричные раковины. Оканэ была замужем.

Любить по здешним понятиям означало переспать с женщиной в сарае для сушки нори, стоящем посреди заросшего камышом болота. Иной парочке лень было тащиться туда, и она устраивалась во внутреннем дворике молельни Мёкэндо или в пожарном сарае, а в летнюю пору — среди камышовых зарослей на ближнем пустыре, под плотиной на реке Нэтогава. Вообще-то к дальнему сараю водили особенно изысканных женщин, которые громко голосили, предаваясь любви. Таких в Уракасу имелось пятеро, и их имена были всем известны. Короче говоря, на любовь здесь все смотрели просто. Все — но не Сукэ. Его чувства были чисты, как у школьника, впервые влюбившегося в гимназистку. Когда Сукэ уходил на «Дайтё-мару» в море за раковинами, его душа буквально изнывала по Оканэ, а перед глазами то и дело всплывало ее лицо и ловкие руки, лущившие раковины.

Команда «Дайтё-мару», за исключением имевшего семью капитана Араки, жила при фабрике. Спали матросы все вместе в небольшой комнатушке. Сукэ тщательно скрывал свою любовь от остальных. Но однажды во сне он произнес имя Оканэ, и все его уловки пошли насмарку.

— Каждую ночь ее зовет,— сообщил наутро один из матросов.

— Я давно слышу: «Люблю, люблю», а вот теперь наконец и имя узнал,— откликнулся другой.

— О-ка-нэ, О-ка-нэ! — пропел первый, обнимая собственные плечи и вихляя бедрами.— Я тебя больше жизни люблю!

Лицо Сукэ словно окаменело. Он отвернулся. Как ему хотелось в этот миг умереть! А еще хотелось избить насмешников до полусмерти. Но он был худ и мал ростом, и те двое

значительно превосходили его в силе — он имел возможность убедиться в этом, когда они тащили сети на борт.

Сукэ решил забыть Оканэ, вырвать из сердца оскверненную любовь. Теперь, проходя мимо женщин, лущивших раковины, он старался как можно быстрее миновать опасный участок. Он задумал выучиться на машиниста и после работы допоздна засиживался за пособиями по механике.

Раньше двенадцати он спать не ложился. Остальные матросы каждый вечер отправлялись куда-нибудь пропустить стаканчик, а потом до глубокой ночи играли в кости или в карты. Нередко они приводили с собой девиц из веселых заведений, устраивали пьяные оргии. Сукэ не обращал на них внимания. Он отодвигал стол в самый дальний угол, затыкал пальцами уши и усердно читал и конспектировал прочитанное. Продолговатую, похожую на ящик комнату в десять цубо<sup>1</sup> освещала тусклая лампочка. Ее свет едва достигал угла, где сидел Сукэ, но он упорно читал, буквально вода носом по страницам.

Товарищи с усмешкой наблюдали за его занятиями. Гораздо проще, считали они, освоить профессию прямо на судне: достаточно поплавать несколько лет да как следует приглядеться к работе механика.

Из-за того что окружающие высмеивали его любовь к Оканэ, Сукэ все более сторонился людей, замыкался в себе, с головой уходя в учебу. Слухи о том, что он призывал во сне Оканэ, быстро распространились и столь же быстро угасли. Здесь вообще не делали трагедии из такого рода событий. Если мужу сообщали — мол, твоя жена переспала с таким-то, он со смехом отвечал: «Должно быть, простая еда приелась, захотелось сладенького» или: «Выходит, и моя старуха еще кое на что годится». Надо сказать, что и мужья тоже не упускали случая поживиться «сладеньким» на стороне. Коротче говоря, в большинстве своем местные жители не были сторонниками отречения от мирской суеты. Находились, правда, и ревнивцы, устраивающие порой шумные скандалы, но таких было немного.

Поэтому люди посмеялись над Сукэ, да и забыли. И только двое в поселке, Сукэ и Оканэ, ничего не забывали — правда, по разным причинам.

Однажды в начале лета Сукэ и Оканэ встретились на плотине. На фабрике был выходной, и после обеда Сукэ, прихва-

---

<sup>1</sup> Цубо — мера площади, равная приблизительно 3,5 кв. м.

тив с собой пару книжек, отправился к плотине. Выбрав поросшее высокой травой место на склоне, он сел и раскрыл книгу. Он читал, переворачивая страницу за страницей, но совершенно не воспринимал смысла прочитанного. Попытался читать вслух, водил пальцем по строке, надеясь, что так она лучше удержится в голове, но все было напрасно.

И тут появилась Оканэ. По-видимому, она наблюдала за Сукэ и пришла сюда за ним следом. Оканэ уже давненько присматривалась к парню и поняла, что инициатива должна исходить от нее. И вот наконец случай представился.

— Сукэ? Какая неожиданность! — с деланным удивлением воскликнула Оканэ. — Чем это вы здесь занимаетесь? Ой, вы учитесь, и я вам, кажется, помешала.

Сукэ захлопнул книжку и замер, не решаясь даже взглянуть на женщину. Оканэ спустилась по склону и села на траву рядом с ним. Сукэ почувствовал, как его обволакивает сладковатый запах женской косметики. У него закружилась голова.

— Вот и весне копец, — с грустью произнесла Оканэ и, словно увлекаемая очарованием этих слов, добавила: — Жизнь безвозвратно уходит, как вода в реке...

Солнце заметно клонилось к западу, все вокруг окутал легкий туман, вода в широком ложе реки, казалось, уснула. Нагретая земля излучала тепло, сильнее запахло свежей травой, из зарослей на противоположном берегу временами доносился резкий свист какой-то птицы.

— Должно быть, камышевка, — сказала Оканэ. — Хотя, пожалуй, для нее еще рановато.

Сукэ дрожал всем телом. Он потупил побледневшее лицо, обхватил руками колени, до крови закусил нижнюю губу, напрасно пытаясь унять дрожь. Оканэ ощутила прилив неудержимой радости. Всю ее пронзило сладостное чувство, какого она никогда до сих пор не испытывала.

— Я люблю тебя, — зашептала она на ухо юноше. — Ты знаешь, где сарай для сушки нори? Знаешь?

Сукэ молча кивнул.

— Я хотела бы с тобой поговорить. Приходи туда сегодня вечером, в семь часов. Придешь?

Она легонько тронула Сукэ за руку. Сукэ испуганно отпрянул. Он так дрожал, что дрожь эта передалась руке женщины. Оканэ вновь ощутила прилив неизъяснимой радости. Она крепко сжала запястье Сукэ, потом нехотя отпустила.

— Уже рыбаки возвращаются с моря, — со вздохом ска-

зала она.— Если нас увидят вместе, пойдут всякие слухи. Лучше уж мне уйти. Эх, не все на свете бывает, как хочется.

Сукэ глядел ей вслед. На глаза набежали слезы. «Вот и весне конец», «Не все на свете бывает, как хочется», «Я люблю тебя», «Жизнь безвозвратно уходит, как вода в реке»... Эти фразы всплывали в его памяти, и каждое слово, казалось, было озарено нездешней красотой, лучистым, золотым светом.

— Никогда не забуду,— бормотал он про себя.— До старости, до самой смерти буду помнить.

Но сколь хрупко и уязвимо прекрасное! Да оно и прекрасно-то именно потому, что хрупко и уязвимо...

В тот вечер Сукэ в условленное время отправился к сараю для сушки нори. Откуда-то из теплого вечернего сумрака доносились пение цикад. Оканэ уже была у сарая и тихонько окликнула его. У Сукэ задрожали колени.

— Вы сказали, что хотите о чем-то поговорить,— смущенно пробормотал он охрипшим голосом.

Тихонько смеясь, Оканэ ухватила его за руку и притянула к себе. Сукэ еще сильнее, чем на дамбе, ощутил запах женского тела и косметики. Этот запах окутал его густым, душистым облаком. В глазах потемнело.

— Да-да, мне нужно сказать тебе... Это очень важно...— зашептала Оканэ.— Войдем внутрь, там нам будет удобней.

— Но...— упирался Сукэ.

— Да не бойся,— тяжело дыша, прошептала Оканэ.— Ничего плохого я тебе не сделаю. Ну будь мужчиной наконец!

Сукэ никак не мог унять бившую его дрожь.

Оканэ завела его в сарай и быстро закрыла дверь.

— Иди сюда, здесь так хорошо! Дай руку... А теперь так... Ну вот, ну вот. Умница...— Оканэ счастливо засмеялась.

— Сукэ,— сонно произнесла она потом,— сколько тебе? Девятнадцать?! Ах, да ведь ты совсем еще мальчик!..

Оканэ в ту пору уже исполнилось тридцать пять. Ее муж Сицзан был лентяй и пьяница. Иногда, словно вспомнив о том, что людям надо работать, он нанимался на поденщину. Возвращаясь домой, он тяжело кряхтел:

— Охо-хо, ну и намаялся я сегодня!

Он не увлекался ни женщинами, ни азартными играми — только пил, а выпив, заваливался спать. Стоит ли говорить,

что весь дом держался на заработках Оканэ и той мелочи, которую она давала мужу, на выпивку явно не хватало. Поэтому Сицдан вечно толкался в харчевнях и пивных в расчете на подачки загулявших посетителей.

Оканэ не имела детей. Может быть, поэтому она выглядела значительно моложе своих лет, и кожа у нее была гладкая и упругая. Короче говоря, Оканэ была женственна и соблазнительна, как все легкомысленные женщины, и ее взгляд говорил мужчинам о ее желаниях значительно больше, чем слова.

Трудно сказать, правда это или досужие выдумки, только ходили слухи, будто Сицдан посещал каждого мужчину, который побывал в объятиях Оканэ. Причем он не скандалил, не ругался. Просто вызывал очередного ее любовника и смущенно говорил: «Не угостишь ли стаканчиком?» Выпивал, если подавали, а когда отказывали, тихонько брел домой.

Любовь Сукэ продлилась всего лишь месяц, а потом была безжалостно растоптана. Однажды ночью в том самом сарае для сушки нори он, дрожа от гнева, стал упрекать Оканэ в том, что она спит с другими мужчинами.

— Ну стоит ли обращать на это внимание, — уговаривала юному Оканэ, пытаясь его обнять. — Ведь люблю я тебя одного. Но не все на свете идет так, как хочется.

— Нет, не то ты говоришь, не то! — дрожащим от негодования голосом закричал Сукэ, отталкивая от себя Оканэ. — Когда мужчина и женщина вместе, они вроде бы растят мандариновое дерево. И если они живут душа в душу, пестуют это дерево, оно дает сочные, сладкие мандарины. А когда ты, Оканэ, спишь сегодня с одним, а завтра с другим, то на нашем дереве вместо мандаринов появятся где баклажан, где тыква, а где картофелина. Я так не хочу.

— Не болтай глупости! — разозлилась Оканэ. — Говоришь красиво, а сам... Спишь со мной тайком от законного мужа, а туда же: баклажаны, тыква! За дуру меня считаешь, что ли? Ах ты... — Последовало такое витиеватое ругательство, какого Сукэ никогда еще не слыхивал.

Прекрасное, чистое, излучавшее золотой свет чувство разбилось. Сукэ мучительно переживал случившееся. Как он хотел умереть! Сколько раз намеревался уехать далеко-далеко и забыть обо всем, что было. Он воображал, как с разбитым сердцем идет, опустив голову, по бесконечной, безлюдной, покрытой снегами равнине на Хоккайдо или где-нибудь еще, и его охватывало странное чувство горькой радо-

сти. Однако он так и не набрался смелости куда-нибудь уехать.

«К чему эти бесцельные мечты, — говорил он себе, отрываясь на минуту от занятий. — Надо забыть обо всем, иначе я ничему не научусь и не выбьюсь в люди». И, словно стараясь отгородиться от шумевших рядом матросов, он затыкал пальцами уши и, низко склонившись над учебником, прилежно зубрил.

Оканэ больше не обращала на Сукэ внимания. Она по-прежнему лущила раковины на разостланных перед фабричными воротами циновках, весело судачила с другими поденщицами и заразительно смеялась. Когда Сукэ проходил мимо, она делала вид, что не замечает его, или глядела безразлично, как глядят на собаку или кошку.

Сиццан ни разу не удостоил Сукэ своим посещением. Однако с той поры, навещая мужчин, побывавших в объездах его жены, он всегда говорил:

— Муж и жена — это вроде бы как двое, растящие мандариновое дерево. И нет такого закона, который разрешал бы чужому человеку даром срывать с него мандарины. Мандарин — это тебе не какая-нибудь тыква или баклажан!

А люди говорили:

— Ну и артист же этот Сиццан!

## Как говорил Бисмарк

— Знаешь ли ты тайные намерения Ротари-клуба? — спросил учитель Кандо.

Яда задумчиво почесал лоб и ответил:

— Точно не знаю, вы, наверное, имеете в виду международный светский клуб?

— Это камуфляж, блестящая вывеска с целью ввести в заблуждение сторонников национальной независимости во всех странах. А я тебя спрашиваю о другом: знаешь ли ты, что замышляют члены Ротари-клуба, прикрываясь этой блестящей вывеской?

— Разве они что-нибудь замышляют?

— Господство Америки над всем миром.

Яда скорчил такую гримасу, словно его заставили выпить микстуру от несварения желудка. Становится тошно от одной мысли о том, что ее приходится принимать трижды в день, и в то же время принимать ее надо — иначе не выздороветь. Вот какую гримасу скорчил юный Яда.

— Американцы вначале попытались покорить Японию с помощью христианства — другими словами, осуществить национальное порабощение через религию. Но господин Токугава раскусил их замыслы и пресек их деятельность. После этого...

Учитель продолжал развивать свою исключительно оригинальную мысль, а бедному Яде стало совсем невмоготу, даже слезы на глазах выступили.

Прошла всего неделя с тех пор, как юный Яда попросился к учителю Кандо в частную Школу патриотического служения родине.

Вначале Кандо несказанно удивила просьба Яды.

— Шутить изволите, молодой человек, — учитель грозно поглядел на Яду из-под густых черных бровей.

— То есть как это шутить? — замер Яда в напряженной позе.

— Неужели по доброй воле ты решил стать моим учеником?

— Вы мне отказываете?

— Почему же? Готов тебя приять,— ответил учитель и задумался.

Над входом в неказистый одноэтажный дом висела вывеска: «Школа патриотического служения родине». Там же четкими иероглифами было выведено имя учителя. Благодаря этой вывеске учитель на редкие пожертвования кое-как сводил концы с концами, но он не смел и мечтать о том, что у него появится наконец свой ученик. По крайней мере до сих пор такового не находилось.

Да будет так, решил про себя учитель. Юноша этот, судя по всему, простодушный, наивный парень. По-видимому, он регулярно получает от родителей деньги. Да, нельзя позволить угаснуть его патриотическому порыву. К тому же его вполне можно будет использовать для сбора пожертвований, и не исключено, что именно он поможет Школе патриотического служения родине встать на ноги.

— Хорошо,— произнес он вслух.— Беру тебя в ученики.

— Кажется, у вас принято устраивать вступительный экзамен? — с опаской спросил Яда.— Честно говоря, экзамены мне не по душе.

— Я тоже считаю это глупостью,— откровенно признался учитель.— Хоть сто раз устраивай экзамен, по нему судить о человеке нельзя. Истинная ценность человека вот здесь.— Учитель постучал по худому, плоскому, как доска, животу. Живот откликнулся печальным, голодным урчанием.

Итак, в первый день своего пребывания в школе юный Яда познал, что ценность человека заключена в содержимом его желудка.

Надо сказать, что с самого пачала между учителем и учеником сложились непростые взаимоотношения.

— Учитель, где вы родились? — спросил однажды Яда.

— Моя родина Япония,— ответил Кандо.— Стоит ли цепляться за такие никому не нужные подробности, как место рождения, когда вся Япония не больше блошиного дерьма. Поэтому на твой вопрос я отвечаю: родился в Японии. Понятно?

— Кстати, а где родился ты? — в свою очередь, поинтересовался учитель.

Яда принял важную позу, словно намеревался сообщить

секрет государственной важности. Потом скромно опустил голову и ответил:

— Позвольте мне не касаться этого вопроса. Мои душа и тело принадлежат отечеству, и я с радостью готов пожертвовать ими ради великой империи. Стоит ли в таком случае тревожить моих родителей?

Яда мысленно усмехнулся, когда учитель Кандо выдвинул идею о Японии, которая меньше блошиного дерьма. В свою очередь, учитель Кандо почувствовал, что оплошал, и чуть не зацокал языком от досады, услышав, как юный Яда попытался прикрыть свои родственные связи теорией самопожертвования.

Во всей школе имелся всего один комплект спальных принадлежностей. Учитель спросил у Яды, когда придут его вещи. Юноша без обиняков признался, что никаких вещей у него нет. Учитель заинтересовался, есть ли у Яды на худой конец смена белья и одеяло. Яда бросил укоризненный взгляд на учителя и спросил: неужели ученик, поступивший в Школу патриотического служения родине, обязан заботиться о подобных мелочах?

Итак, первое сражение было явно проиграно учителем. Кандо сам признал, что его предназначение — просветительская деятельность в интересах нации, и в частности разъяснение и пропаганда императорского пути. Естественно, как сказал об этом Яда, столь высокие цели исключали заботу о житейских мелочах.

— Хорошо, — сдался учитель. — Можешь взять одеяло напрокат.

В целях духовного совершенствования Яде были определены следующие обязанности: приготовление пищи, уборка помещения, покупки, выполнение мелких поручений, уход за учителем и многое другое. Все это было не столь затруднительно, как казалось, ибо при желании обмануть учителя и не выполнить то или иное поручение особого труда не составляло. Однако имелась еще одна, действительно тяжкая обязанность, увильнуть от которой было чрезвычайно сложно. Она состояла в посещении занятий, которые проводил учитель Кандо.

— Поскольку Ротари-клуб ставил своей целью захват Японии, — разглагольствовал учитель, — не так давно был издан приказ о роспуске отделения клуба в Японии. В связи с этим некоторые японские богачи, утерев веру в экономические перспективы страны, перевели или пытались перевести

свои ценности за границу. Богачи в любой стране — не только в Японии — поступают одинаково, а ротарианцы входили в близкий аристократии и богачам международный орган и, само собой, обеспечивали преимущества тем и другим для перевода ценностей за границу.

Занятия доводили юного Яду до слез не оригинальностью своей и подчас трудноуловимой взаимосвязью суждений учителя, не утомительностью длинных изъяснений, не чрезмерным воспеванием кристальных вершин человеческого духа. Честно говоря, в лекциях учителя не было ничего такого, что могло бы заставить Яду страдать. И все же стоило учителю начать беседу, как Яда, независимо от ее содержания и логической связи, приходил в плаксивое состояние и буквально заливался слезами.

Беседы учителя редко ограничивались изложением одного вопроса. Обычно он от проблемы А неожиданно переходил к проблеме С, от Б к К, от Ц к Д, потом вдруг снова возвращался к А или Б. Так было и во время его беседы о Ротари-клубе. Рассуждая о политике клуба, он внезапно спросил:

— А ты читал летопись о божественном происхождении и непрерывности династии императоров?

Когда же Яда спросил, что это такое, тот сказал:

— У меня есть к тебе поручение, — и добавил, смущенно улыбаясь: — Нужно раздобыть денег. В общем, дело несложное. Сейчас все объясню.

Учитель достал из кармана висевшего на стене пиджака большую, изрядно помятую визитную карточку, тщательно разгладил пальцами загнутые края и, вручая ее Яде, внятно произнес фамилии трех журналистов из трех разных газет.

— Они — мои молодые друзья. Покажи им визитную карточку, и они сразу поймут, что мне нужно. О деньгах можешь даже не упоминать. Ясно?

— Вроде бы да, — неопределенно ответил Яда.

— Не забудь принести обратно визитную карточку, не дай бог, попадет она в чужие руки, и ее используют в других целях.

Яда уточнил названия газет и фамилии журналистов и, испытывая смутное беспокойство и неуверенность, отправился по указанным адресам. На его лице застыло такое выражение, словно он собирался прыгнуть в воду с десятиметровой вышки.

Несмотря на все опасения Яды, операция по добыче денег прошла благополучно.

— Ничего удивительного, ведь эти журналисты считают себя моими учениками,— сказал учитель Кандо, однако не смог скрыть радости в связи с успешным завершением операции.

— Великий Бисмарк говорил: генерал должен знать своих солдат лучше, чем военную тактику. В этом залог победы.— Учитель подсчитал принесенные Ядой деньги.— На этих троих я уже давно обратил внимание. Говорят, в последнее время в журналистских кругах стали недооценивать человеческие отношения. И все же, пока есть там такие люди, как мои друзья, беспокоиться нечего. Они не допустят, чтобы журналистика лишилась своей здоровой основы. Парень, сегодня у нас с тобой есть повод выпить!

В тот вечер учитель Кандо в сопровождении юного Яды отправился в «пьяный» переулок. Там они основательно хлебнули самогона, закусывая жареными головами угря. Учитель не преминул сказать, что угрей, жаренных в соевом соусе, едят ничего не смыслящие дилетанты. Настоящие же знатоки поедают только голову.

— Понимаешь, кое-кто может со мной не согласиться, поэтому говорю только для тебя: для жарки в соевом соусе берут искусственно выращенных угрей. Их мясо сохраняет неприятный запах из-за червячков, которыми их подкармливают. Головы — другое дело. Это продукт натуральный. Можешь убедиться — в каждой голове крючок торчит. Тут уж никакого обмана. Вот взгляни! — И учитель показал на лежащие на краю стола три крючка — он извлек их из только что съеденных голов.

— Но, учитель,— тихо возразил Яда.— Говорят, что торговцы специально насаживают на крючки головы искусственно выращенных угрей, чтобы выдать их за натуральных.

— Обывательское вранье. Не верь.

— Честно говоря, я сам не раз ловил угрей,— еще тише сказал Яда,— для этого нужны совсем другие крючки, а теми, которые лежат у вас на столе, угря не поймаешь...

Потом учитель Кандо, совершенно упившись, неожиданно сцепился с каким-то рабочим. Драка, правда, получилась своеобразная: рабочий бил, а учитель подставлял себя под удары, но не сдавался.

— Бей, сильнее бей! — кричал он, поднимаясь с пола

после очередного удара.— Ты, темнота, не ведаешь, что творишь. Ты сейчас избиваешь будущее Японии!..

Именно эти слова слетели с разбитых губ учителя, за что он и получил еще пару затрепчин.

— Что там произошло вечером? — расспрашивал на следующий день учитель Яду.— Не помнишь, почему тот рабочий на меня рассердился?

Учитель осторожно ощупал голову, дотронулся до здоровенной шишки и поморщился от боли. На его левой щеке и на лбу красовались два основательных синяка.

— Я толком ничего не помню,— ответил Яда, постукивая ребром ладони по затылку.— Я сильно опьянел и заснул в противопожарной бочке, которая стоит рядом с харчевней. Припоминаю лишь, как вы громко распевали «Слушайте, рабочие мира».

— Врешь, не мог я петь коммунистическую песню.

— Как раз из-за этой песни на вас рассердился рабочий.

— Врешь! Все наоборот! Я ведь как-никак глава Школы патриотического служения родине.

— И все же рабочий разозлился. Я вскоре заснул в бочке и подробностей не помню, но слышал, как он обзывал вас «красным бандитом».

Учитель удивленно покачал головой, провел рукой от рта к подбородку, потом лег на спину и уставился в потолок.

— Великий Бисмарк говорил: «Для того чтобы покорить сердце солдата, надо делить с ним постель и пищу»,— произнес он устало.— По-видимому, я ошибся в своем солдате. Ох, голова разламывается с похмелья. Сходи-ка купи самогону.

На лице учителя отразилось страдание. Нет, это было не только страдание, а целая гамма чувств: и стеснившая грудь тоска, и самоотречение, и горькое сожаление.

Старожилы здешних мест помнят еще те времена, когда учителю довелось дважды испытать неразделенную любовь. Предметом его обожания была сначала здравствующая и ныне женщина по прозвищу «Мадам-побирушка на похоронах», которую все считали немного чоквудой. Она жила вдвоем с сыном в одном из здешних одноэтажных барачков.

Потом он вздыхал по одинокой, миловидной вдове тридцати семи лет по имени Отоми, которая впоследствии уехала неизвестно куда.

Никто не знал, на какие средства существовала Отоми: надомной работой она не занималась, деньги ей тоже никто не присылал. И все же жила она сносно и даже обеспеченно, нередко приглашала на чаепитие соседских женщин. Оговоримся сразу: это не походило на строгие чайные церемонии, но мужья с удовольствием отпускали своих жен к Отоми, поскольку они возвращались домой с богатым запасом удивительных историй, изобилующих поразительными деталями, порой наглядно воспроизводимыми. Отличающиеся исследовательской жилкой мужья невольно загорались желанием испытать нечто подобное.

Наслышавшись рассказов о чаепитиях у Отоми, учитель страшно рассердился, заявив, что она наносит вред хорошим традициям, и решил посетить Отоми, чтобы, как он сказал, предостеречь ее на будущее. Как это часто случается в жизни, после первого визита к Отоми учитель совершенно переменял о ней свое мнение, весело смеялся и усиленно расхваливал ее перед своими друзьями.

— Что вы? — задумчиво улыбаясь, говорил он. — Отоми — сама простота. Она в том возрасте, когда женственность достигает максимального расцвета. К тому же она обладает достаточным опытом... и еще кое-чем.

Пошли слухи, будто во время первой встречи учителя с Отоми между ними что-то произошло. Учитель как бы в подтверждение слухов зачастил с тех пор к Отоми.

— Должен сказать, — делился он впечатлениями с друзьями, — что в мире не родилась еще другая женщина, которая столь соответствовала бы идеалам мужчины. Она обладает редкостными способностями и умением подбодрить мужчину, поднять его настроение.

— Не надоела ли вам холостяцкая жизнь? — спрашивали учителя друзья. — А тут такая удачная партия: симпатичная вдовушка и возраст подходящий.

— Мы еще мало знаем друг друга, — отвечал учитель. — Встретимся разок-другой, а там будет видно. Если все пойдет гладко, может быть, и поженится.

Втайне учитель Кандо уже решился на этот шаг и ждал лишь подходящего случая, чтобы сделать предложение.

Однако его постигла неудача. Вначале Отоми усиленно потчевала учителя любпытными историями, стараясь разжечь в нем желание самому испытать то, о чем она рассказывала. В ходе повествования она нередко принимала соблазнительные позы, и учитель догадался, что Отоми поощряет его на более решительные действия. Его страсть, как говорится, достигла точки кипения, и он приготовился немедленно сделать предложение. Однако язык учителя действовал вопреки его воле. И в самый ответственный момент он сказал:

— Отоми-сан, великий Бисмарк говорил: «Если, сражаясь, не победить — значит потерпеть поражение». И далее: «Если не хочешь потерпеть поражение — надо сражаться».

И пошло, и пошло... Одна крылатая фраза за другой, принадлежащие то ли Бисмарку, то ли еще кому-то. Как учитель ни сопротивлялся, его язык делал свое дело и не желал вернуться к предмету его обожания. Отоми начинала скучать и никак не могла дождаться, пока учитель уйдет.

— Он такой странный, — откровенничала Отоми с подругами во время очередного чаепития. — Я ему специально разные завлекательные истории рассказываю, а он в ответ все про какого-то парня по имени Бис: мол, Бис сказал то-то, Бис в этих случаях советует поступать так-то. В общем, бред какой-то. И такая взяла меня тоска. Скажу я вам, не учитель это, а настоящий болван, чурбан неотесанный.

Не слишком много потребовалось времени для того, чтобы сказанное Отоми достигло ушей учителя, и тогда в его душе прозвучал гонг, возведающий о конце его безответной любви...

История любви к «Мадам-побирушке на похоронах» прошла те же стадии и закончилась так же бесславно.

Настоящее имя ее было Сэйко, прозвище — Чокнутая. Муж ее имел где-то в порту овощную лавчонку, был законченным алкоголиком и дома появлялся не чаще одного-двух раз в месяц. Сэйко жила вместе с сыном на то, что сама зарабатывала. Сына звали Дзин, он учился в третьем классе начальной школы.

Если у усопшего не было родственников, то поминальную молитву во время похорон совершают чужие люди — теперь, правда, это делают не так часто, как прежде. К тому же раньше, когда хоронили богачей, обязательно кидали бедня-

кам деньги, давали милостыню детям и старикам, которые выстраивались по дороге к кладбищу.

А тем, кто совершал поминальную молитву, дарили либо коробку сладостей, либо почтовые марки, которые по стоимости соответствовали этим сладостям.

Сэйко всегда находилась среди совершающих поминовение и, конечно, не забывала получать сладости либо марки, которые она незамедлительно продавала кондитерам с двадцатипроцентной скидкой.

Если в день случалось несколько похорон, Сэйко прилично зарабатывала — значительно больше поденных рабочих. Конечно, для того чтобы присутствовать на похоронах, а тем более совершать поминальную молитву, надо иметь «первоначальный капитал» для покупки черного выходного кимоно с гербами, для платы парикмахеру за соответствующую прическу и так далее. Сэйко приобрела черное (правда, хлопчатобумажное) кимоно, а волосы ежедневно укладывала сама, чтобы сэкономить на парикмахерской.

За умение сохранять в лучшем виде прическу, за элегантное черное кимоно с гербами Сэйко и прозвали Мадам. Но не только за это. Она научилась держаться как средние буржуа и смеяться, почти не раскрывая рта.

Сын ее Дзин был отъявленным анархистом. Он не любил мать, терпеть не мог школу, жестоко мучил кошек и собак, бил слабых, в том числе девочек, но всегда трусливо отступал перед сильными. Дзин редко появлялся дома, обычно ночевал в чужих сараях или кладовых, а когда хотел есть, залезал к кому-нибудь в кухню. Одет он был в обноски, руки и ноги — грязные, в цыпках. Самые жалкие нищие казались чистюлями по сравнению с ним. Иногда Сэйко удавалось его поймать, она тащила сына в дом, раздевала догола, независимо от того, было на дворе лето или зима, отдраивала его горячей водой с мылом, стригла волосы и ногти и одевала во все чистое.

Во время этой церемонии Сэйко выговаривала сыну в самом изысканном тоне, а Дзин вел себя послушно и тихим голосом просил прощения. Это было поистине впечатляющее, прекрасное мгновение, которое рисовало в воображении картину возвращения блудного сына под теплый родительский кров. Однако вслед за сценой омовения и очищения неизбежно наступала сцена наказания.

Начиналась она с мягкого упрека:

— Почему ты такой нехороший сын? Почему ты не по-

чуешь дома? Разве нормальные дети так себя ведут? Ты, конечно, знаешь, что о тебе говорят соседи? Зачем ты все время шкодишь?

Голос матери звучал мягко и был сладок, словно пудинг, политый медом. И как своеобразный аккомпанемент ему через определенные интервалы раздавались звучные удары. Соседские женщины говорили, что Сэйко обычно снимает с сына штаны и бьет его по заду линейкой. Мягкий, сладкий, словно политый медом пудинг, голос и резкие удары, от которых стынет кровь в жилах, создавали необыкновенное сочетание звуков, вынести которые было чрезвычайно трудно.

— Прости меня! — слышится вопль Дзина. — Я больше не буду! Ой, больно! Извини меня (шлеп)! Не вру! Буду ходить в школу! Пусти, иначе умру (шлеп)!

— Чего орешь, как будто тебя режут? Замолчи, не то все соседи сбегутся (шлеп)! Не хнычь (шлеп)! Неужели так тебе больно? Не смей больше обманывать маму (шлеп)!

Наконец Дзину удается вырваться, и он выбегает на улицу. Тут он дает волю своей ненависти:

— Проклятая старуха! Чтоб ты подохла! — Этими словами он обычно начинает поносить Сэйко. Потом следуют такие образные эпитеты и сочные проклятия, какие редко услышишь даже из уст самого ответного бандита.

Если любопытные соседи собирались послушать эту перебранку, Дзин, ни секунды не колеблясь, кидал в них палками и камнями.

— Нельзя, сынок, так шуметь на улице, — мягко, словно заворачивая в шелк что-то драгоценное, увещевала Дзина Сэйко, выглядывая в окно. — Вернись домой, нехорошо становится посмешищем для соседей.

— Что ты болтаешь, дерьмовая старуха, подохла бы ты скорее! — смеялся в ответ Дзин.

Обычно после таких выволочек Дзин надолго исчезал из дома, спал в сараях или кладовых, воровал у чужих людей еду.

Учитель Кандо задался благородной целью наладить отношения между сыном и матерью. Он заходил к Сэйко, подолгу беседовал с ней, убеждая, что виной всему отсутствие в доме мужчины. Он участливо расспрашивал Сэйко, почему ее муж живет отдельно, отчего так редко ее навещает. Сэйко постепенно проникалась к учителю доверием, рассказывала, что муж завел себе другую женщину, перестал работать, интересуется только велосипедными гонками и приходит лишь тогда, когда нуждается в деньгах. Она призналась

также, что они уже много лет не живут как муж и жена и, если бы нашелся подходящий человек, она согласилась бы завести новую семью.

— Раз муж завел на стороне женщину, с какой стати я обязана тянуть лямку в одиночку,— говорила она, многозначительно поглядывая при этом на учителя.

От этих слов и взглядов сердце учителя начинало биться, как у восемнадцатилетнего юноши. По-видимому, Сэйко замечала это и, невзирая на свой скудный заработок, стала готовить к приходу учителя угощение и даже ставила бутылочку саке. Накладывала на щеки белила и красила губы.

Наливая учителю саке, Сэйко кокетливо придерживала левой рукой широкий рукав на правой, которой подносила ему чашечку. Иногда учитель и ей наливал саке, и Сэйко, застенчиво улыбаясь, принимала чашечку из его рук.

Каким бы тупицей и болваном ни слыл учитель, он не мог не догадаться, что вся эта игра рассчитана на достижение определенной цели.

Он понимал, что поставлен в такое положение, когда от малчиваться уже нельзя, и принялся увещевать Сэйко. Он говорил, что ей-де следует развестись с негодником-мужем и выйти замуж за человека образованного, с положением, который мог бы позаботиться о будущем Дзина. Сэйко согласна кивала головой и, намереваясь, по-видимому, открыть учителю прямой путь к атаке, нежно клала ему руки на колени.

В этот ответственный момент язык его выходил из повиновения и, чтобы придать себе уверенности, он произносил:

— Великий Бисмарк сказал: «Тот генерал настоящий, кто, победив, не поживает на лаврах».

Но Сэйко еще надеялась, что именно сейчас учитель перейдет в решительную атаку. Он и сам хотел этого. Однако действительность всегда так прозаична! И хотя сердце учителя продолжало биться, как у восемнадцатилетнего, его язык упорно не желал сдаваться:

— Бисмарк далее говорил: «Обращенный в бегство солдат подобен опавшему цветку. Вернуть его на фронт все равно что возвратить опавший цветок на ветку дерева».

И все же Сэйко не теряла надежды. Она рассчитывала, что разговор не ограничится цитатами из Бисмарка и наконец последуют слова, продиктованные страстью. Но Бисмарк был упорен и неумолим.

На лбу учителя выступали капельки пота, глаза наполня-

лись слезами, однако язык продолжал без устали сообщать, о чем говорил Бисмарк.

У Сэйко не было близких друзей, поэтому мы не узнаем точно, как она оценила поведение учителя, но, судя по выражению его лица, когда он в последний раз покидал дом Сэйко, слова эти были куда крепче, чем «болван» и «чурбан»...

В ссоре с рабочим в «пьяном» переулке тоже, по-видимому, свою роль сыграл язык учителя, который вопреки его воле продолжал гнуть свою линию. Чем иначе объяснить, почему вдруг учитель ни с того ни с сего стал распевать коммунистические песни?

— Учитель, это просто возмутительно! — возбужденно заговорил юный Яда после того, как разлил по чашечкам принесенный им самогон и они глотнули этой живительной влаги. — Представляете, только что я просмотрел в винной лавке газету. Там напечатано, что в Доме собраний открывается общенациональный съезд правых организаций, а вам почему-то даже не прислали обычного приглашения.

Учитель задумался, потом, с сожалением глядя на Яду, ответил:

— И когда ты только научишься хоть что-нибудь понимать! Да будет тебе известно, что там соберется всякая мелочь. Они незаконно присвоили себе название «правые». На самом деле среди них нет ни одного стоящего деятеля. Так, отребье одно!

— Но на съезде будут Тайги Кохэй и Кокусуй Дзюньити.

Учитель замотал головой, замахал руками.

— Подумаешь, невидаль какая, — сказал учитель, презрительно скривив губы. — Знаю я всех их как облупленных. Они были учениками Асихара Мидзухо<sup>1</sup>, потом их с треском изгнали. Вместо того чтобы печься о будущем государства, они думали только о собственном кармане, пугали и обманывали честных обывателей и вымогали у них деньги.

Яда с интересом слушал разгневанного учителя, всем своим видом стараясь выказать одобрение.

— Я хотел бы задать тебе вопрос, Яда, — сказал в заключение учитель. — Неужели ты думаешь, что великий Бисмарк согласился бы присутствовать на съезде, к примеру, нацистской партии?

---

<sup>1</sup> Тайги Кохэй, Кокусуй Дзюньити, Синсю Дандзи, Асихара Мидзухо — имена нарицательные, составленные из националистических лозунгов: национальная чистота, священная империя, страна богов и т. д.

Яда широко открыл рот, словно собираясь закричать, но вовремя остановился, зажал себе рот рукой и закашлялся.

— Учитель! — наконец воскликнул он. — Не в похвалу себе будет сказано... — Он снова закашлялся и густо покраснел. — Именно теперь я понял, что все же немножко разбираюсь в людях. Недаром я избрал вас своим учителем.

— Да, жизнь сложна... Налей себе, юноша, — задумчиво произнес учитель. — Жизнь сложна, и трудно уследить за всеми ее переменами. Выпьем!

— Выпьем! — словно эхо откликнулся юный Яда.

Что же представляла собой Школа патриотического служения родине? Иероглифы, составлявшие ее название, означали: «печалиться за будущее государства». По общему мнению, она принадлежала к организациям правого толка. Основываясь на идее защиты национальных традиций от подрывных экстремистских мыслей, она должна была проводить какую-то работу, направленную против левых. Деятели правых группировок, которых учитель назвал «мелочью», по-видимому, подобную работу вели, о чем время от времени сообщалось в прессе. Но в Школе патриотического служения родине не было и намека на деятельность такого рода. Иногда, правда, учитель пускался в теоретические рассуждения, развивая свои идеи, а юный Яда выступал в роли слушателя.

Короче говоря, учитель и ученик проводили время в праздном безделье, пили, когда появлялись деньги.

Долго такое продолжаться не может. И Яда понял это, когда в третий раз отправился добывать деньги. Оказалось, что три журналиста из трех газет, на которых с самого начала учитель возлагал надежды, никогда с учителем не встречались и даже не знали о его существовании. Два раза они дали деньги не думая — то ли потому, что пребывали в благодушном настроении, то ли крупный гонорар получили. На этот раз они, по-видимому, начисто забыли, что дважды оказали помощь какой-то Школе патриотического служения родине.

Все это Яда выложил учителю без прикрас. Тот воспринял сообщение спокойно, не ощутив стыда и не пытаясь оправдываться.

— Так-так, — пробормотал он себе под нос и, недовольно глядя на Яду, спросил:

— Ты с ними встречался?

— Нет, — ответил Яда. — Мне сообщил об этом рассыльный. Но и раньше они передавали деньги через рассыльно-

го,— поспешно добавил он.— Сама они, по-видимому, очень заняты.

— А мою визитную карточку ты показывал?

Яда молча развел руками, как будто хотел сказать: а как же могло быть иначе!

— Ничего не поделаешь, такое часто бывает,— сказал учитель, стараясь успокоить Яду.— У этих журналистов иногда ломаного гроша не найдется. В этом вся прелесть их существования. Чтобы добыть информацию, подчас тратятся сотни тысяч, а у самих в кармане пусто. Именно поэтому великий Бисмарк говорил...

— Как быть с ужином? — перебил его Яда.— У нас не осталось ни горстки риса.

Учитель сразу забыл про то, что говорил Бисмарк, ибо, когда дело касалось еды или питья, он становился большим реалистом, чем Яда. В тот самый момент, когда Яда сообщил ему, что риса нет, в желудке учителя угрожающе заурчало и он ощутил такой голод, словно в течение по меньшей мере трех дней у него не было во рту ни крошки.

— Почему ты своевременно не предупредил меня об этом?

— Я думал, что сегодня все же удастся раздобыть денег у журналистов.

— Ничего не поделаешь,— повторил учитель, поглаживая бороду.— В таком случае тебе придется сходить к старику Тамбэ. Скажи, что учитель Кандо просит дать займы риса. Завтра я сам попробую раздобыть деньги. Тебе же сегодняшней опыт, которым не следует пренебрегать, поможет лучше понять человеческий характер.

Юный Яда поспешил выйти из дома прежде, чем учитель заговорит о Бисмарке и его изречениях.

По-видимому, у учителя имелись про запас другие, неизвестные Яде источники добывания денег, так как на следующий день он куда-то ушел, а к вечеру вернулся в дышину пьяный.

— Парень, ты думаешь, я пьян? — заплетающимся языком бормотал учитель.— Нет, это не простое опьянение в обывательском смысле слова. Это, понимаешь, это...

— Через заднюю дверь, через заднюю...— шепотом сказал кому-то Яда.

— Что ты там бормочешь? — глядя на Яду налитыми

кровью глазами и покачиваясь, спросил учитель.— Ты перебиваешь меня, это неприлично... При чем тут задняя дверь?

— Это все кошка,— ответил Яда, вытирая губы тыльной стороной ладони.— Чья-то кошка забрела на кухню. Ужин готовить?

— С какой стати ты собираешься готовить для кошки ужин?

— Не для кошки, а для вас, учитель,— возразил Яда, кому-то усиленно подавая знаки за спиной.

Дверь в кухню отворилась и со стуком захлопнулась в тот самый момент, когда Яда поспешно закаплялся.

— При чем тут ужин? Разве тебе не известно, что нужно принципиальному борцу? Выпивка!

Учитель сел на циновку, скрестив ноги, подтянул у колен полосатые брюки, расправил складки и сказал:

— Теперь будем пить по-настоящему. Сбегай за самогоном. Я угощаю.

— Деньги,— сказал Яда, протягивая руку.

— День-ги, день-ги, день-ги,— нараспев произнес учитель, вытащил из кармана пиджака бумажник, неожиданно ловким движением извлек из него ассигнацию и, передавая ее Яде, сказал: — Забочусь о будущем отчизны, забочусь и о деньгах. Много забот у учителя Капдо. Когда-то великий Бисмарк говорил...

Так и не узнав, что сказал Бисмарк по этому поводу, Яда вышел из дома, предварительно заглянув на кухню и захватив пустую бутылку. Послышались приглушенные голоса. Яда разговаривал с кем-то, ожидавшим его на улице. Учитель, конечно, не мог услышать, о чем шел разговор. Продолжая свою бесконечную беседу с великим Бисмарком, он вдруг обнаружил на старой циновке тонкую шпильку. Поднял ее и, не сообразив что это такое, выбросил в прихожую. Потом лег на спину и уснул.

На следующее утро во время завтрака Яда, обращаясь к учителю, сказал:

— Только теперь я понял, какой я еще желторотый.

— Скромность — одна из человеческих добродетелей,— изрек учитель.

— Как я ни старался — в деньгах мне отказали. А стоило вам, учитель, ненадолго выйти из дома, и вы сразу вернулись с полным бумажником. Преклоняюсь перед вашими способностями.

Хитрый Яда решил переложить на плечи учителя заботы о деньгах. Учитель же, не будучи человеком взыскательным, принял признание Яды за чистую монету и сказал, что для пользы дела возьмет временно на себя поиски средств к существованию.

Однажды учитель опять поднял шпильку со старой циповки. На этот раз он принялся внимательно ее разглядывать.

— Подойди-ка сюда, Яда,— позвал он ученика и показал ему шпильку.— Что бы это могло быть?

В глазах Яды промелькнула тревога. К счастью, учитель этого не заметил.

— Недавно я подобрал здесь точно такую же вещь,— задумчиво проговорил учитель, держа шпильку между большим и указательным пальцами.— Пахнет маслом,— добавил он, нюхая шпильку.— Что это? Кто ее здесь забыл?

— Может быть, кошка?

— Кошка? Такую штуку?!

— В последние дни какая-то кошка стала посещать наш дом,— проговорил Яда, судорожно глотая слюну.— По-видимому, очень хитрая кошка. Она неторопливо так пересекает дом от входной двери к кухне и обратно.

— Должно быть, отыскала кратчайший путь,— высказал предположение учитель, выбрасывая шпильку в прихожую.— В следующий раз ты ее припугни, скажи, мол, поймаем, закарим и съедем — пусть не дурачит людей.

Однажды утром, страдая отсутствием аппетита после тяжелого похмелья, учитель выпил мисосиру<sup>2</sup>, возвел глаза к потолку и спросил:

— Яда, не ты ли нынешней ночью так странно стонал?

На этот раз юный Яда без тени страха повернулся к учителю и отрицательно покачал головой.

— Значит, это был сон,— проворчал он.— Но мне так явственно послышалось, будто кто-то стонет таким тоненьким голоском.

— Наверное, это кошка мяукала.

— Нет, не кошка. Мне даже слышались слова: «Больно! Ты меня поранил». Так кошка говорить не может.

— Кошки, когда они вступают в пору любви, и не такое говорят. Помню, у нас в деревне на заднем дворе у торговца дровами жила кошка, которая каждый вечер мяукала: «Ре-

---

<sup>2</sup> Мисосиру — суп из бобовой пасты с овощами.

бенок умер, ребенок умер». А у него как раз в это время заболел ребенок. Торговец дровами всполошился, решил, что кто-то из зависти решил накликать на его дом беду. А потом оказалось, что это кричала кошка в любовном экстазе. А вот еще у торговца мешками был случай...

— Нет, это была не кошка. Я совершенно четко слышал шепот: «Больно! Ты меня поранил», а потом послышался тихий стон.

— В таком случае вам это во сне приснилось. Вы ночью сильно храпели, то и дело ворочались и даже разок лягнули меня в бок ногой. Правда!

— Может быть, и так.— Учитель нахмурил брови.— Может быть, и так. Извини.

Как-то днем, вернувшись после очередного похода за деньгами, учитель нашел входную дверь запертой. Ни замка, ни засова не было видно, но дверь не открывалась. По-видимому, ее заперли изнутри. Такого никогда еще не случалось, и сбитый с толку учитель стал громко звать Яду и стучать в дверь.

Вскоре Яда откликнулся. Послышались какие-то странные звуки, и в окне появилась его физиономия.

— Добро пожаловать, учитель. Сегодня вы возвратились раньше обычного,— смущенно приветствовал его Яда, наскоро затягивая ремень на брюках.

— Что случилось с дверью? — раздраженно спросил учитель.

— Минуточку, сейчас открою.— Дверь отворилась, и Яда отступил в сторону, пропуская в комнату учителя.— Я дверь вот этим запер.— Он показал старый гвоздь длиною в пять сун<sup>3</sup>.

— Зачем?

— От кошки.

— От той самой, которая ходит через дом?

— Ага. Она грязные следы на циновке оставляет. Вот я и решил больше не впускать ее.

Учитель снял костюм, переоделся в домашний халат и теплую накидку и удивленно потянул носом воздух.

— Что за странный запах? Кто-нибудь приходил, пока меня не было дома?

— Не было никого. Вы ведь знаете, что в ваше отсутствие я чужих в дом не пускаю. Чаю хотите?

---

<sup>3</sup> Сун — мера длины, равная 3 см.

Учитель еще раз повел носом, подозрительно оглядывая комнату, но ничего не обнаружил. Спустя несколько дней среди ночи ему снова послышалось, как кто-то стонет, потом сдавленным голосом говорит: «Пусти, я больше не могу, не могу». «Должно быть, опять померещилось», — подумал он наутро.

В стране усиливалась депрессия. Упорнее становились слухи о застое в экономике и ожидаемом банкротстве ряда мелких и средних предпринимателей. Это носило характер эпидемии гриппа. Власти предпринимали меры по урегулированию создавшегося положения, кое-как восстанавливали конъюнктуру за счет мелких и средних предпринимателей и лиц с низким доходом. Но поскольку никто не думал о радикальном способе лечения, болезнь через некоторое время наступала снова. По не претендующему на гениальность мнению старика Тамбы, принимаемые меры были направлены на спасение ростовщической экономики Японии. Услышав это, учитель Кандо возмущенно пожал плечами, назвал Тамбу «красным» и заявил, что этому проповеднику опасных мыслей в будущем не поздоровится — и поделом!

Но не поздоровилось самому учителю, хотя он и не проповедовал опасные мысли, причем значительно раньше, чем старому Тамбе. Однажды в сумерки, когда он возвращался из очередного похода за деньгами, к нему подскочил поджидавший его Дзискэ:

— Эй, учитель! Куда ты дел мою жену? — закричал он, сжимая кулаки.

Дзискэ было лет сорок семь — сорок восемь. Из шестерых его детей при нем осталась младшая дочь, остальные разбрелись кто куда. Он был женат третий раз. Охати была моложе его почти на двадцать лет, белокожа и миловидна, как многие женщины из Тохоку. За два года супружеской жизни она не родила Дзискэ ребенка. Дзискэ слыл человеком положительным, спокойным, никогда не ввязывался в спор, не то что в драку.

И вот этот безобидный человек буквально сотрясаясь от гнева и уже закатывал рукава своей куртки, чтобы поколотить учителя.

— Чего ты кричишь? В чем дело? — спросил его учитель и выставил руку вперед, намереваясь отразить ожидаемый удар.— Если ты считаешь меня в чем-то виноватым — прости. Только успокойся.

— Верни мою жену,— снова завопил Дзискэ.— Где ты прячешь мою жену Охацу? Говори!

— Ты имеешь в виду Охати?

— Ее правильное имя — Охацу. Но это не имеет значения. Называйте ее как хотите, только не морочьте мне голову. У меня есть свидетели. Они не способны умничать, как вы, но у них есть глаза, и они все видели.

— Да ты успокойся, Дзискэ, и объясни все по порядку. Я никак не пойму, что тебе от меня надо.

Разгневанный Дзискэ продолжал укорять учителя: мол, как ему, учителю, не стыдно соблазнять чужую жену.

— Я и не собирался ее соблазнять. Это чей-то злостный павет,— оправдывался учитель.

— Но люди видели собственными глазами, как чертовка Охацу вошла в твой дом через заднюю дверь, а через час потихоньку выскользнула на улицу и, поправляя прическу, отправилась домой. Ну так как же, учитель?

— погоди, Дзискэ,— сказал учитель, взволнованно поглаживая бороду.— Вот оно что... В самом деле, такое могло быть...

— Что ты там бормочешь?

— Главное не в том, что видели или не видели люди. А вот если бы Охати...

— Ее зовут Охацу.

— Если бы ее позвать сюда, мы смогли бы сразу все выяснить. По-моему, это самый простой путь установить истину,— заключил учитель таким тоном, словно выставил главный козырь.

— Вот я и говорю: верни ее, учитель!

— Ты считаешь, будто я с твоей женой?..

— Учитель, перестань морочить мне голову!

— Это я морочу тебе голову?! — вышел из себя учитель.— Женщина, о которой идет разговор, твоя жена, не так ли? Так вот: если ты хочешь выяснить мою причастность к поступкам твоей жены, ты, само собой, должен ее привести сюда.

И вдруг учителя осенило.

— Это проделки моего ученика Яды! — воскликнул он.— Он поступил в мою школу три месяца тому назад.

— Ты хочешь сказать, что она ходила не к тебе?

— Как ты смеешь сомневаться? Пристало ли мне заниматься такими вещами? Недаром я твержу тебе: приведи сюда Охати и спроси у нее — все сразу станет ясно.

— Но ее нет дома, учитель! — сокрушенно произнес Дзискэ. Он сел на приступок и задумался, захватив пальцами свои толстые губы. — Наверное, она ушла ночью. Утром, когда я проснулся, Охати, — Дзискэ даже не заметил, что перестал называть ее Охацу, — уже не было и до сих пор нет.

— Мой ученик тоже не появляется со вчерашнего вечера. Похоже, они сбежали вместе.

— Жена и вещи с собой прихватила, — прошептал Дзискэ. — Почему она так поступила? Ведь мы женились по обоюдному согласию.

Учитель думал о своем и больше не прислушивался к жалобам Дзискэ. Утром, когда он не обнаружил Яду, он еще надеялся, что тот вернется. Со времени поступления в школу Яда впервые отлучился по личным делам, и учитель решил, что он отправился повидаться с кем-либо из друзей. Теперь стало ясно, что юноша сбежал вместе с Охати, и учитель испытал чувство глубокого разочарования и обиды — Яда его предал.

— Какой толк в твоих причитаниях? — сказал учитель. — Подумай лучше, куда могла направиться твоя жена.

Этого Дзискэ не знал. С Охати он познакомился на земляных работах. Она помогала на кухне. Когда работы закончились, они поженились, но Дзискэ так и не удосужился с ней зарегистрироваться и не знал даже места ее постоянного жительства. Надо сказать, что большинство местных жителей обычно не регистрировались с женами до рождения первого ребенка. «А зачем? — говорили они. — Пока нет детей, наши жены в любой момент могут убежать с кем угодно».

— Тяжелый случай, — произнес Кандо.

— А тебе, учитель, известны родители твоего ученика? — спросил, в свою очередь, Дзискэ.

Учитель вынужден был отрицательно покачать головой.

— А кто его рекомендовал?

Учитель и этого не знал. Он вспомнил свой первый разговор с Ядой, когда тот пришел поступать в школу, и поморщился.

— Такое легкомыслие тебе не к лицу, учитель. Как же

ты нанимаешь человека, не зная, кто его родители, и не имея рекомендаций? — упрекнул его Дзискэ. — Ведь это нарушение закона. Даже на собаку надо получать ошейник с регистрационным номером.

— Он не наемный, — возразил учитель. — Я взял его учеником в свою Школу патриотического служения родине.

Дзискэ вздохнул. Вздох был глубокий, на редкость продолжительный и печальный. Дзискэ трудно было что-либо возразить, ибо он не знал, насколько резонным был ответ учителя. Он лишь взъерошил на голове волосы и снова вздохнул.

— Как ты намерен поступить с беглецом? — спросил после длительного молчания Дзискэ.

— Никак, — спокойно ответил учитель. — Великий Бисмарк говорит: «Вернуть на фронт беглого солдата все равно что возвратить опавший цветок на ветку дерева». Мой принцип — не преследовать того, кто уходит.

— Мне этого не понять. Скажи все же, как я должен поступить?

— Выход один: заяви в полицию. Пусть объявят розыск.

— Нет. — Дзискэ энергично затряс головой. — В полиции, наверное, уже есть такие заявления от ее прежнего мужа, а может быть, и не от одного. Представляешь, даже если и найдут эту чертовку Охати, в полиции у всех голова пойдет кругом: кому из мужей ее возвращать? Скандал!

— Н-да, — глубокомысленно произнес учитель, изучающе разглядывая потемневшее лицо Дзискэ. — В таком случае надо оставить ее в покое — другого выхода нет. А если она сама вернется?

— Понимаю: другого выхода нет, — словно эхо повторил Дзискэ. — Говоришь, вернется... Не вернется. Как представляю ее себе в объятиях этого подлеца, на душе муторно делается.

Спустя примерно неделю учитель получил от Яды почтовую открытку следующего содержания:

«Я отвергаю пустые разглагольствования Школы патриотического служения родине. Древние говорили: „Действие — вот удел настоящего мужчины“. Позвольте мне объявить вам, учитель, что я, Яда, решил стать знаменосцем движения за освобождение женщин и готов добиваться этого, не жалея собственного тела. Вот так. Яда».

Прочитав сие послание, учитель разорвал открытку на мелкие кусочки и выбросил в мусорную корзину. Он скорчил брезгливую гримасу, потом стал раздраженно дергать себя за бороду.

— Дерьмо! Самое время сейчас напиться. Можно пойти в «пьяный» переулок, да местная шантрапа — все сплошь эти самые люди действия.

Учитель поднялся с циновки, постоял в раздумье и, словно решившись на что-то, вышел из дома со словами: «Начну-ка со старого Тамбы».

## Белые моды

Издали этот завод кажется постоянно окутанным туманом. Белый дым, похожий на пар, но более густой, в ветреные дни клонится в направлении ветра, а в тихую погоду сначала поднимается вверх, а потом медленно оседает, окрашивая в белое все вокруг: завод и пристройки, землю, траву и даже расположенную в отдалении пристань на реке Нэтогава.

К востоку от завода тянется поросшее камышом болото, переходящее в огромный пустырь, на западе в непосредственной близости от завода протекает Нэтогава. На заводской территории расположены контора, разделенный на клетушки барак, в котором живут рабочие, ракушечный склад и дровяной сарай. В небольшом здании конторы с трудом помещаются хозяин завода и несколько служащих. Окна и двери конторы всегда, даже летом, держат плотно закрытыми. Но и это не спасает от всепроникающей мельчайшей пыли, которая образуется при обжиге раковин. Белая пыль скапливается на столах, тонким слоем покрывает пол. Кажется, только что вымел ее, а она снова появляется неизвестно откуда. Тогда-то начинаешь понимать, сколь бессмысленна здесь ежедневная уборка: чтобы вымести пыль из конторы, надо открыть окна и двери, а через них пыль снова мгновенно проникает внутрь. Поэтому уборку устраивают лишь два-три раза в год, когда гасят для прочистки печи. Хозяин завода и служащие стараются стирать пыль со столов, бухгалтерских книг и прочих предметов, соблюдая максимальную осторожность. Да что там! Для них стало привычкой рассчитывать каждое движение. Говорят они между собой только по делу, почти никогда не смеются и даже писать стараются, едва касаясь пером бумаги.

В конторе всегда царит мертвая тишина. Когда с консервного завода привозят пустые раковины, на заводском дворе появляются двое служащих. Один взвешивает раковины, дру-

гой делает отметку в бухгалтерской книге и выдает расписку тому, кто привез груз. Все это по привычке делается молча, без лишних слов. Потом рабочий с консервного завода отвозит тележку с порожним ящиком за ворота, а служащие возвращаются в контору, плотно закрывая за собой дверь. Раз в месяц на заводе появляются скупщики известняковой муки. Их мотоциклы с грохотом въезжают на заводской двор и, не задерживаясь лишней минуты, сразу же после совершения сделки уносятся прочь, оставляя за собой струю выхлопных газов. Когда кончается рабочий день, служащие один за другим молча покидают контору. Последним уходит хозяин, запирая дверь на большой всяческий замок.

Завод — деревянный, с крышей из оцинкованного железа, помещение — пятнадцать на тридцать метров, высота до вентиляционного люка на крыше — около десяти метров. Стены обшиты двойным слоем досок. Основную площадь занимают три большие печи, снабженные люками для загрузки раковин и выборки известняковой муки, а также обширной топкой, в которую непрерывно подбрасывают дрова.

Внутри завода все покрывает толстый слой слежавшейся известняковой муки, мелкие пылинки висят в воздухе, образуя густой туман, так что даже на расстоянии в пару футов с трудом можно различить человеческую фигуру.

Завод обслуживают пятнадцать рабочих — девять мужчин и шесть женщин: пять семейных пар, четверо неженатых и старуха, разнорабочая.

Человека, впервые увидевшего этих людей, невольно охватывает жуткое чувство. И мужчины и женщины работают обнаженными, единственная их одежда — узкая набедренная повязка. Все, как один, острижены наголо; брови, волосы под мышками и в других местах выбриты, поскольку известняковая пыль, проникая в корни волос, делает волосы хрупкими и ломкими. Только по груди и по бедрам можно определить, кто из рабочих мужчина, а кто — женщина.

У всех крепкое телосложение. По сравнению с наголо остриженными головами их обнаженные тела выглядят непропорционально большими. Безбровые лица с сонными глазами, всегда плотно сжатые губы создают впечатление чего-то ненормального, нечеловеческого. Такое ощущение еще более усиливается при взгляде на женщин: лишенные волос черепа, тяжелые руки, мотающиеся при каждом движении, мощные, мясистые бедра, кривые, короткие ноги, заставляющие вспомнить о рахите... Обожженная до коричневого цвета

кожа, покрытая белыми точками приставшей к телу известняковой пыли, медленные, тупые движения согбленных фигур вызывают в воображении образы не столько человеческие, сколько неких непонятных чудовищ.

За исключением двух-трех дней в году, когда производится очистка печей, завод работает круглые сутки. Работа ведется посменно: десять человек работают, пятеро отсыпаются. Раз в месяц — тоже посменно — рабочие отдыхают. Но и в эти дни они не имеют привычки ходить в город, чтобы поразвлечься, не пытаются завязать знакомства с местными жителями. Их мир ограничен заводом и разделенным на клетушки бараком, в котором они живут. В этот мир никому извне хода нет.

Рабочие завода еще более молчаливы и бесстрастны, чем служащие. Они двигаются крайне медленно, словно их плечи постоянно отягощены тяжелым грузом. В их жестах ощущается какая-то заторможенность. Время от времени они выходят из заводских ворот, усаживаются рядышком на насыпи у реки Нэтогава. Они глядят на медленно катящую волну реки, на судоремонтные мастерские на противоположном берегу, закусывают, курят, молчат (в моем блокноте записано: сидят, словно заросшие мхом каменные изваяния будд). Они не глядят друг на друга, не проявляют желаний перебраться хотя бы словом. И хотя эти люди сидят, почти соприкасаясь телами, кажется, будто каждый из них отделен от соседа непроницаемой стеной.

— Все они каторжные, — переговаривались между собой местные детишки.

— Есть и убийцы.

— А тот новый, с красным пятном, говорят, он двоих зарезал, — задохнувшись от возбуждения, шепчет мальчик постарше.

Мужчине, которого он упомянул, на вид лет тридцать пять — сорок, на его левом виске и части щеки большое родимое пятно красно-бурого цвета.

Никто не знал, как он попал на завод. Правда, то же самое можно сказать и об остальных пятнадцати рабочих. Здесь не интересовались ни их прошлым, ни происхождением.

Да и вообще, что могло иметь значение для этих лишенных волос и бровей, обнаженных и одинаково покрытых слоем известняковой муки людей? Они загружали в печь раковины, подбрасывали в топку дрова, насыпали в мешки из-

вестняковую муку и относили их на берег, к пристани. Мопотонная, изо дня в день одна и та же работа. Стоило раскрыть рот, как туда сразу попадала пыль. Поэтому они постоянно хранили молчание, словно немые. Понятно, когда появился новый человек, никто из них и не подумал поинтересоваться, кто он, откуда и каково его настоящее имя. Просто их стало на одного больше. Вначале, пока новичок еще отличался от остальных цветом кожи и не приобрел опыта в работе, кое-кто иногда обращал внимание на его промахи. Хлопали белыми от муки ресницами, поглядывали удивленно из-под красных, воспаленных век, но, признав в нем новенького, сразу теряли к нему интерес. Постепенно он усвоил необходимые несложные операции, кожа его приобрела такой же коричневый цвет, как у других, и он полностью слился с остальной массой. Теперь к нему уже никто не приглядывался.

Единственное, что отличало его от остальных рабочих,— это красное родимое пятно. Он вел себя скромно, был неприятелен, хорошо трудился, старался не выделяться и охотно выполнял даже такую работу, от которой другие отлынивали. Каждый из вновь поступавших вначале вел себя так же, стараясь продемонстрировать свое трудолюбие либо действительно проявляя интерес к новой работе. Однако у мужчины с родимым пятном были иные, более примитивные мотивы: просто он считал это работой, которую следует выполнять. Поэтому его отношение к своим обязанностям оставалось неизменным и через полгода, и спустя почти год. Во всяком случае, так казалось.

Как бы ни выглядели рабочие завода в глазах посторонних, на деле им не было чуждо ничто человеческое. Эти лишённые волос бессловесные существа, с невыразительными, похожими на маски лицами, умели сердиться и радоваться, печалиться и страдать, надеяться и желать. Более того, вынужденная обстоятельствами молчаливость, закованность в известняковую броню приводили время от времени к бурному проявлению в них человеческих чувств.

Спустя примерно год после прихода на завод человек с родимым пятном стал ощущать внутреннее беспокойство, которое всячески старался скрыть от окружающих. Его начали тревожить женщины.

Первое время здешние женщины казались ему уродливыми беспозвоночными и единственным чувством, которое он к ним испытывал, было отвращение. Но шли дни, проходили

месяцы, и он стал воспринимать их как женщин. Теперь его глаза неотрывно следили за их движениями и жестами, его обоняние жадно ловило исходящие от них запахи. Мерно раскачивающиеся тяжелые груди, нижняя часть живота, выступающая более рельефно благодаря узкой, плотно прилегающей набедренной повязке, широкие бедра, мясистые ягодицы — все это возбуждало его своей первозданной простотой и откровенной неприкрытостью.

Из пяти женщин его больше всего привлекала одна. Она была молода, невысокого роста, с несоразмерно крупным по сравнению с маленькой головой и короткими ногами телом и, конечно, замужем.

Вначале она показалась ему самой некрасивой, даже уродливой. Однако со временем именно эта уродливость стала все более притягивать его. Ее грудь и бедра были особенно развиты, казалось, во всем ее приземистом, упитанном теле лишь они жили и двигались, как бы существовали сами по себе. Круглый живот со складками жира, чрезмерно широкий таз, тяжелые, мясистые, резко выступающие ягодицы таили в себе неиссякаемую чувственность.

От нее исходил довольно резкий запах. Этот запах временами усиливался, и тогда у него темнело в глазах, кровь бросалась ему в голову и все тело начинало пылать. Чувствуя, что он больше не в силах себя сдерживать, мужчина бросал работу и убегал к поросшему камышом болоту, мучительно пытаясь справиться с охватившим его чувственным пароксизмом. Это не раз наблюдали детишки, приходившие на болото ловить рыбу.

Тот осенний день ничем не отличался от предыдущих. После полудня к пристани причалило судно и большинство рабочих отправились грузить на него мешки с известняковой мукой. Он остался дежурить у печей. Несмотря на позднюю осень, около печей было жарко, в воздухе висела плотная белая завеса известняковой пыли — она колебалась, образуя причудливые складки и завихрения.

Когда он направлялся к печи с очередной охапкой дров, в нос ему неожиданно ударил резкий запах, напоминавший одновременно запах ржавого железа и звериного молока. Еще до того, как мужчина заметил ее, он понял, что именно от нее исходит этот запах. Он повернул голову, насколько позволила охапка дров. С шеи осыпалась известняковая пыль, обнажив тонкие полоски коричневой кожи. Женщина стояла у входа. Она вошла, поправила набедренную повязку и, тя-

жело ступая, направилась в угол, где были сложены дрова. Она казалась очень уставшей. Он перевел взгляд на пол — на припорошенных белой пылью досках виднелись красные пятнышки. Дверца топки, куда он собирался подкинуть дрова, была открыта, отблески пламени окрасили стоявшую в воздухе пелену пыли в оранжевый цвет, и в этом призрачном освещении четко обозначилась цепочка красных капель, протянувшаяся вслед за направлявшейся в угол женщиной.

У него потемнело в глазах. Он бросил дрова на пол и сделал несколько шагов по направлению к женщине. Она прислонилась к дощатой стене и, нагнувшись, складывала в несколько слоев какую-то тряпицу. Он приблизился к женщине вплотную и наотмашь ударил ее по лицу, потом еще и еще. Женщина бросила на него помутившийся, ничего не понимающий взгляд. Казалось, она не чувствует боли, не ощущает наносимых ей ударов. Он грубо обхватил ее и повалил на пол. Нащупал и сорвал набедренную повязку.

В этот момент послышались крики старухи разнорабочей. Опомнилась и стала взывать о помощи женщина. Он навалился на нее всей тяжестью своего тела и зажал ей рот рукой. Она укусила его за руку и стала изо всех сил отбиваться руками и ногами. Рыча что-то бессмысленное, он приблизил лицо к ее груди. Позади послышались быстрые шаги, и тотчас же он ощутил сильнейший удар в спину, а затем — по голове. Били чем-то острым. Ему показалось, что голова его раскололась надвое. Над ним стоял ее муж, высоко подняв для следующего удара большую лопату, которой выгребают из печи известняковую муку.

Он соскользнул с женщины, рванул на себя ногу нападавшего и выхватил из его рук лопату. На крики старухи стали сбегаться рабочие, грузившие муку. Никто еще толком не понял, в чем дело, как он ударил противника по голове острием лопаты. Тот дико завопил от боли, прикрывшие голову руки окрасились кровью. А он успел нанести еще несколько ударов — в грудь и в живот — и, задыхаясь от кашля, выскочил наружу. Рабочие погнались было за ним, но вскоре отстали. Их отпугнули его искаженное злобой лицо и лопата, которую он все еще сжимал в руке.

Пока, забыв о предосторожностях, он боролся с женщиной, пыль глубоко проникла ему в горло, и теперь его одолевал удушливый кашель. Не переставая кашлять, он по пояс в воде переправился через болото и помчался по пу-

стырю в сторону моря. Его натужный кашель еще долго доносился до слуха отставших преследователей.

Тем временем из конторы завода о нем дали знать в полицейский участок. Была объявлена облава. Стали собираться местные жители, вооруженные кто чем. Владелец консервного завода «Дайтё» даже натянул на себя охотничий костюм, захватил ружье и собаку. Толпа, возглавляемая начальником участка и двумя полицейскими, двинулась к пустырю.

Женщина отделалась синяками, зато муж ее пострадал очень сильно. Особенно глубокой была рана на животе. Ему оказали первую помощь и в тот же вечер отправили на носилках в городскую больницу, которая находилась в десяти километрах от места происшествия. Жена шла рядом с носилками.

Новичка обнаружили на следующий день. Он скрывался в зарослях бамбука, примыкавших к пустырю. Разрывная пуля, выпущенная из ружья владельца «Дайтё», раздробила ему лодыжки. Все высоко оценили меткость хозяина консервного завода.

## Чем жив человек?

Теплым весенним днем я ловил рыбу чуть пониже завода, где пережигают раковины на известняковую муку.

За спиной простирался обширный пустырь. Оттуда иногда задувал ласковый весенний ветерок, и мутноватая вода реки Нэтогава покрывалась легкой рябью.

Когда я вытянул первого хинэхадзэ<sup>1</sup>, послышались шаги по насыпи. Рядом со мной уселся мужчина и закинул удочку. Я с сожалением подумал, что придется сменить место.

Я никогда не считал себя завзятым рыбаком, удочка у меня была самая дешевая, какой обычно пользуются дети, да и закидывал я ее не в богатых рыбой местах, а где-нибудь между свай или в омутах, основательно заросших водорослями. И все же никогда не возвращался домой с пустыми руками. Тем не менее мне становилось не по себе, когда рядом появлялся по виду опытный рыбак, знаток своего дела. У него всегда был целый набор дорогих складных удочек, специальная корзина для рыбы и коробочка для наживки. И шляпа с широкими полями при нем, и резиновые сапоги, и роба — в общем, полное рыбацкое обмундирование. И вот садился такой рыбак рядом, закидывал удочки — и ничего! А я вытягивал да вытягивал одну рыбу за другой. И тут мне становилось невмоготу. Я начинал испытывать укоры совести.

Подобных случаев было немало, и я взял за правило менять место, если по соседству располагается такой рыбак.

Но на этот раз мне не повезло. Только я начал сворачивать леску, как человек, закинувший рядом удочку, повернулся ко мне и спросил:

— Чем жив человек?

Я удивленно поглядел в его сторону.

— Чем жив человек? — повторил он.

На вид ему было лет пятьдесят, поверх ватного кимоно

---

<sup>1</sup> Х и н э х а д з э — разновидность бычка.

на нем была надета просторная куртка — тоже на вате. Голова и шея обмотаны грязным шерстяным шарфом. Одутловатые щеки и подбородок заросли седоватой щетиной. Толстые крупные губы и слегка выпученные глаза как бы говорили о том, что он не кто-нибудь, а важная персона, к примеру десятник на стройке, которую ведет солидная строительная компания.

— Что вы имсете в виду? — недоуменно спросил я.

Мне показалось, что его вопрос как-то связан с рыбной ловлей, поскольку мне и в голову не могло прийти, что в этих обстоятельствах он станет рассматривать важные жизненные проблемы, выдвинет столь серьезный, я бы сказал, философский тезис.

Он наградил меня таким взглядом, каким смотрит десятник на ленивого рабочего, потом снова задал тот же вопрос, делая паузы между словами. Затем — боюсь, не поверит мне читатель — он сжал пальцы правой руки в кулак и стал размахивать им перед моим носом. Почувствовав опасность, я отпрянул. Мужчина начал перемещать кулак сверху вниз и снизу вверх, как бы стараясь привлечь к нему мое внимание. И тут я заметил, что между средним и указательным пальцами отчетливо выглядывает кончик большого пальца. Так вот в чем дело, подумал я и окончательно растерялся, ибо не мог понять, шутка это или у человека не все в порядке с головой.

Что тут было делать? Он продолжал размахивать передо мной кулаком и не сводил с меня своих выпученных глаз. Ясно было одно: он не шутил. Я изобразил подобие улыбки, промычал что-то неопределенное и, глядя на его кулак, одновременно изображавший кукиш, несколько раз утвердительно кивнул головой.

Может быть, это удовлетворило его, или он решил, что продолжать разговор бесполезно, — как бы то ни было, он перестал размахивать кулаком и молча повернулся к своей удочке.

Однажды вечером, греясь у очага в доме моего друга Такасины, я рассказал об этом случае. Такасины был человеком образованным. Он окончил университет и служил в Токио в небольшой коммерческой газете. Жил он вдвоем с женой, детей у них не было, и, видимо, поэтому да еще благодаря его гостеприимству и доброму нраву к нему вечерами любили заходить друзья, по большей части моряки. В его небольшом доме всегда весело пылал огонь в очаге, всегда на-

готовые была закуска и выпивка. Время от времени Такакина предоставлял мне возможность публиковать в его газете детские сказки, и гонорар за них был приятным дополнением к моим довольно скудным в то время заработкам.

— Так это же мичман, — выслушав меня, воскликнул сидевший у очага судовой механик Акия. — Значит, опять его выписали из больницы.

— Вроде бы он не сумасшедший, — объяснил Такакина, заметив удивление на моем лице. — Но с головой у него не все в порядке. У него сразу умерли жена и четверо детей — от холеры. С той поры он и тронулся. Теперь регулярно ходит в городскую управу к инспектору по военному учету и требует пенсию.

— Почему его зовут мичманом? — спросил я.

— К военно-морскому флоту это никакого отношения не имеет. В армии он служил ездовым в обозе. Потом работал на стройке, на консервном заводе, занимался поденной работой — возил морскую капусту. Сколько же это лет прошло с тех пор?

— Пожалуй, что семь, — пояснил механик Акия. — Как раз тогда капитан Кояма выпросил себе старый пароход и ушел на пенсию. В тот год «мичман» — его настоящее имя Сасабуру — поехал на заработки. Теперь никто уже не может вспомнить, куда он отправился. Известно только, что жена и четверо детей умерли в его отсутствие.

— Сасабуру души не чаял в своих детях, — рассказывал Такакина. — Когда он возвратился домой и узнал, какая его постигла беда, он буквально онемел от горя. Полмесяца не находил себе места, потом отправился в городскую управу к инспектору по военному учету и сказал:

— Я мичман военно-морского флота. Мне должны выплачивать пенсию. У вас должно быть извещение об этом.

Инспектор решил, что человек шутит, и, подыгрывая ему, ответил, что, мол, пока извещение еще не поступило. Сасабуру удивленно покачал головой, сказал, что придет попозже, и ушел.

С тех пор каждый месяц, когда наступало пятое число, он говорил тетке, которая жила поблизости и ухаживала за ним, что отправляется за пенсией в городскую управу.

Тетка сходила в управу, объяснила инспектору, что человек не в себе, и инспектор всякий раз, когда появлялся Сасабуру, говорил ему, что, к сожалению, извещение о пенсии еще не поступило. Сасабуру с сомнением покачивал го-

ловой и говорил, что наведается попозже. При этом вел он себя сдержанно, не грубил. Лишь однажды Сасабуру возмутился нерадивостью чиновников из штаба военно-морского флота, сказал, что по головке их не погладят за то, что они не выплачивают ему пенсию, и добавил, что его жена и четверо детей погибли на войне.

— Так недалеко и до повторения событий пятнадцатого марта <sup>2</sup>, — предупреждал он.

— А спрашивать, чем жив человек, он стал позднее, — продолжал Такакина. — Мне тоже однажды досталось. Преградил дорогу, выставил свой кулачище и задает этот самый вопрос. Я знал, что он не в себе, но все же испугался...

Слушая все это, я с болью душевной думал о том, сколь глубоко горе Сасабуру.

— Чем жив человек? — пробормотал я, прислушиваясь к звучанию слов. Нет, это не заученная фраза. Это слова, сказанные человеком, потерявшим разом жену и четверых детей.

Он легко впадал в буйство и даже дрался. Трижды Сасабуру помещали в больницу. В больнице он вел себя снокойно, и через три-четыре месяца его выписывали. Откровенно говоря, он и в городе не буянил, если его не дразнили и не вывели из себя.

Одного никто не мог понять: почему он стал называть себя мичманом. В городе был еще один не вполне нормальный человек — действительно мичман в отставке. Человек этот вернулся сюда, в город Уракасу, уже после того, что случилось с Сасабуру, причем они не были знакомы и никогда друг с другом не встречались.

Я встретился с Сасабуру всего один раз, но и по сей день у меня болит сердце, когда я думаю о том, что ему пришлось пережить. Только вот до сих пор не могу понять, почему он тогда размахивал кулаком, одновременно изображая кукиш.

---

<sup>2</sup> 15 марта 1928 г. японское правительство и военщина осуществили массовые аресты и подвергли репрессиям японских коммунистов.

## Увеселительное заведение

Однажды вечером, когда я возвращался домой с прогулки, меня догнала запыхавшаяся от бега Осэй — из харчевни «Сумикава». Осэй недавно исполнилось двадцать лет. Ее тонкое, продолговатое лицо было не лишено привлекательности. Мы нередко встречались с ней и дружески болтали.

— Сэнсэй, вы, должно быть, еще не ужинали? — обратилась ко мне девушка.

Я что-то уклончиво пробормотал в ответ.

— Не готовьте ничего! — воскликнула Осэй. — Сегодня вам будет угощение на славу! И рис не варите.

Хитровато улыбнувшись и пообещав потом рассказать кое-что интересное, Осэй, повода худенькими плечами, побежала рысцой в сторону пристани.

«Не иначе, накололи простака», — решил я, глядя ей вслед.

В ту пору я увлекался этюдами и, куда бы ни ездил, обязательно прихватывал с собой этюдник и уголь. Рисовал я не с целью преуспеть в живописи — просто считал, что таким путем смогу запечатлеть некоторые особенности местного пейзажа. Кроме того, после каждого путешествия я привозил портретные наброски, что тоже было немаловажно для моей писательской работы.

Несколько ранее описываемых событий я впервые приехал «на этюды» сюда, в Уракасу, вместе со своим другом, театральным критиком из одной известной газеты. Сделав несколько набросков в городе и его окрестностях — на заросшем камышом болоте и у канала с пришвартованными к берегу рыбацкими лодками, мы почувствовали, что проголодались, и зашли пообедать в ближайшую харчевню, привлеченные заманчивой вывеской: «Отдых и обед. Свиные котлеты и рис с жареной рыбой».

Нас проводили в отдельную комнату, и я сразу же забеспокоился: вспомнил случай, рассказанный мне всего лишь

две недели тому назад художником Икэбэ Хитоси. Однажды, еще в ту пору, когда Икэбэ был студентом художественного училища, возвращаясь из поездки «на этюды», не то в Уцуномия, не то в другом месте он в ожидании поезда зашел перекусить в обыкновенную, провинциального вида харчевню. Художника провели в отдельную комнату, где вскоре появились, источая резкий запах белил и прочей косметики, женщины; они несли бутылочки с саке, пиво и блюда с едой, которые Икэбэ вовсе не заказывал. Женщины преспокойно уселись за стол и стали усердно пить и есть, обнаружив недюжинный аппетит.

Студенту Икэбэ даже в голову не пришло, что эти женщины могут иметь на него виды. У них, в художественном училище, считалось хорошим тоном одеваться небрежно, и даже неискушенному человеку было понятно, что с него ничего не возьмешь. Так думал Икэбэ. Однако, когда принесли счет, в него было включено все, что съели и выпили эти пропахшие косметикой дамы. И денежки были безжалостно стребованы с оторопевшего Икэбэ — все до последней пены.

— Учти, с провинцией шутки плохи, — весело улыбаясь, заключил свой рассказ Икэбэ.

Вспомнив об этом случае, я потребовал бутылку пива и что-нибудь горячее на две персоны.

— Больше ничего, — подчеркнул я.

Спустя полгода, когда я уже основательно прижился в Уракасу и ближе познакомился с девицами из харчевни «Сакаэя», я частенько заглядывал туда поболтать и воочию убедился, что эти девицы — сама святая простота. Они оказались настолько невежественны и простодушны, что обмануть их и заставить работать в поте лица на других ничего не стоило. Но обо всем этом я узнал значительно позже, а в тот день старался быть настроже.

Как и следовало ожидать, не успели мы с приятелем удобно расположиться, как в дверях появились три могучие женщины с бутылками пива в руках. Мои опасения подтвердились.

— Ладно, — проговорил я. — А теперь, ну-ка, поставьте бутылки на пол, все-все, на пол — там, где стоите.

Решив, что я намерен устроить своего рода представление, женщины, поощрительно посмеиваясь, осторожно опустили бутылки с пивом на пол. Но мне было не до представлений.

— Вот ты,— обратился я к низенькой женщине, стоявшей справа,— возьми только одну бутылку и заходи в комнату. Только ты,— повторил я,— и только одну бутылку. Остальные девушки свободны. Можете идти и захватите с собой пиво.

— Ай-ай-ай, какой нехороший человек, какой противный, какой негостеприимный,— зачастила выбранная мною толстушка.

Она быстро подошла ко мне, бесцеремонно повалила на спину и села на меня верхом. Руками она прижала мои руки к полу, а ногами так сдавила бока, что я чуть не задохнулся. Со столь вызывающим поведением молодой женщины я столкнулся впервые и, стораю от стыда из-за унижительного положения, в котором оказался, предпринял безуспешную попытку скинуть с себя лихого седока. Впоследствии я узнал, что толстушке еще не исполнилось и шестнадцати. Ростом она была чуть больше полутора метров, но руки у нее оказались просто железными, а горячие, как печка, бедра — такие мощные, что все мои усилия высвободиться из необычных объятий ни к чему не привели.

Предпринятые предосторожности и поединок с толстушкой позволили нам предотвратить надвигающуюся опасность и ограничиться только платой за еду и одну бутылку пива. Короче говоря, на нас не поживились.

Вся эта история неволью вспомнилась мне, пока я провозжал взглядом удаляющуюся фигуру Осэй — из харчевни «Сумикава».

Спустя некоторое время рассыльный постучал в дверь и передал мне три блюда с различными яствами и целую плоскую белого риса. Думаете, я испытал укору совести? Нисколько. Я постоянно страдал от безденежья и полуголодного существования, поэтому я хотя и не аплодировал девицам, поймавшим на крючок простака, но и к нему особого сочувствия не испытывал. Сейчас уже не припомню, что за яства прислали мне на ужин. Помню только, что одно блюдо я отнес дочери корзищицы Отама, которая постоянно оказывала мне мелкие услуги, а все остальное съел сам, до последней крошки, и в прекрасном настроении лег спать.

На следующий день часов около одиннадцати вечера я узнал о некоторых подробностях того «интересного события», о котором обещала рассказать Осэй.

Отложив в сторону перо, я сидел за столом, уставившись невидящим взором в исписанные листки бумаги, и думал о

том, как трудно жить в этом мире и как неясно ожидающее меня будущее. Внезапно со стороны дамбы донеслись гудки автомашины и веселые возгласы женщины. Вскоре меня окликнул знакомый голос, и в дверях появилась Осэй.

Она была одета в выходное кимоно, на ногах — белые таби. На покрасневшем лице блуждала счастливая улыбка. Осэй вручила мне сверток и присела сбоку у стола. От нее пахло вином, и это было непривычно.

— А вы все занимаетесь! — слегка игриво, но как-то рассеянно произнесла она. — Ну-ка поглядите, что в свертке. Вы ведь из Токио — значит, узнаете. Поглядите же.

Я развернул сверток и увидел стеклянную баночку кораллового цвета с нарядной этикеткой. В банке были сладкие бобы различной формы, на этикетке — герб известного актера и раскрашенные маски, в которых он играл.

— Эти сладости мы называем пятицветными бобами, а вот как они по-настоящему зовутся — не знаю.

Девушка снова счастливо засмеялась.

— Ох и сладкие, должно быть, эти «бобы для влюбленных»! Мне их Каттян подарила... Вы не можете себе представить, как я устала.

Далее последовал рассказ о вчерашних событиях.

Часов около двенадцати в харчевню зашли трое мужчин — по виду не то коммивояжеры, не то сборщики денег по счетам, много ели, пили. После трех, когда они собрались уходить, один вдруг заявил, что остается. Он с самого начала чувствовал себя хозяином положения. Каттян это заметила и стала строить ему глазки. Кончилось тем, что он остался.

— Это бы еще ничего, — продолжала Осэй, — но простачок, оказавшись с Каттян наедине, тут же вытащил из кошелька стоиеновую ассигнацию и стал помахивать ею перед носом Каттян: мол, ублажи — получишь сотнягу. Вот глупец! Вел себя с поспешностью рикши, забежавшего в харчевню перекусить.

Надо сказать, что жители Уракасу любят пересыпать разговоры всякими присказками да поговорками, причем иногда настолько их переиначивают на свой лад, что человеку со стороны они кажутся бессмысленными. Так и мне было невдомек, причем тут рикша, пока Осэй не объяснила:

— У рикши ноги крепкие да быстрые, не дают ему покоя. Не успеет заскочить на минутку в харчевню, как ему уже не терпится потратить заработанные деньги. Вот и у нашего

простачка, должно быть, загорелось в одном месте. Ну и подавай ему тут же Каттян — вместо воды, чтобы пожар потушила...

Операция по облапошиванию простачка началась, оказывается, с того самого момента, когда мне доставили роскошный ужин.

Завсегдатаям современных кабаре и баров с сомнительной репутацией подобная операция, наверное, показалась бы всего лишь детской забавой. Из «Сумикавы» последовал приказ: доставить женщин и посуду из других увеселительных заведений. Вскоре в «Сумикаву» стали прибывать девицы, нарядившиеся гейшами, и ящики с бутылочками для подогревания сакэ, бокалами и прочей посудой. Дело в том, что в здешних харчевнях посуды было мало — посетители, как правило, ограничивались бутылкой пива и одним горячим блюдом. Поэтому в экстренных случаях посуду собирали по всем харчевням.

Прибывшие женщины расселись вокруг простачка и веселились до самого рассвета. Такой шанс выпадал раз в год, а то и реже, и грешно было им не воспользоваться. Гость же после полуночи настолько устал, что едва не падал.

— Крепкий мужчина попался, — хохотнула Осэй, — на ногах не держится, а все пристает к Каттян: пойдем, мол... Каттян ему и говорит: «Шутить изволите», а он: «Я... не... шучу. Я человек серьезный». — «Успокойтесь, успокойтесь, — поглаживает его по спине Каттян. — Мы ведь с вами уже два раза уединялись». А он бормочет: «Неужели два... раза?» А сам качается — вот-вот свалится на пол.

Попытки припомнить, сколько раз он уединялся с Каттян, по-видимому, доконали гостя — он со стоном повалился на пол и уснул. Женщины обратили на него не больше внимания, чем на упавшую со стола палочку для еды. Они пели, плясали, переругивались, устраивали потасовки, пили за примирение. Потом снова плясали, пели, бранились и таскали друг друга за волосы.

А гость, ничего не ведая, крепко спал, подложив под голову подушечку, на которой сидел за столом. Уже рассвело, когда Каттян его разбудила. Первой, кого он увидел, прорвав глаза, была хозяйка заведения. Она протягивала ему счет. Хозяйка приходилась Осэй матерью. По годам она была не так уж стара, но рано поседела. Ее худое, костлявое лицо покрыла густая сеть морщин. Говорят, ни один забулдыга-моряк не мог выдержать ее строгого взгляда — съезживался от

страха, особенно если к тому же она вынимала изо рта вставные зубы.

Гость взглянул на счет и позеленел. Диалог, который за этим последовал, пожалуй, приводить не стоит. В конце концов он заявил, что заплатит лишь после того, как они вместе пойдут в полицейский участок. На что хозяйка, угрожающе скрипя вставными зубами, возразила:

— Зачем ходить в участок? Можно вызвать полицейского прямо сюда. И не затруднитесь — я сама это сделаю. Но учтите, вам не поздоровится! — Хозяйка обвела рукой комнату, где были выставлены в ряд восемьдесят бутылочек для подогревания сакаэ, сорок пустых бутылок из-под пива, две двухлитровые бутылки из-под водки и множество прочей посуды. — Полицейский сможет убедиться, что все это указано в счете. Вас вчера сколько раз предупреждали — хватит, хватит! А вы все заказывали. Поглядите, в бутылках еще осталось и сакаэ и пиво. Гейш было шестеро, плата по таксе, только за сверхурочные, как положено, надбавка. Подсчитано все точно. А теперь, если настаиваете, я позову полицейского. Но поверьте — осрамлюсь не я, а вы.

Можно себе представить, какое выражение лица было у бедного простака. Вещественные доказательства были перед глазами. Сомнительно, что ввалившиеся сюда накануне вечером лихие девицы были гейшами. Но кто знает! Не исключено, что в полицейском участке они зарегистрированы именно как гейши. Ему сейчас ни за что не припомнить, какая еда была в многочисленных горшочках и плошках и в чьи желудки она угодила. Однако количество стоящей на полу посуды совпадало с тем, что значилось в счете. Наверное, совпадало... Да и кому придет в голову подсчитывать! Комната напоминала разгромленную посудную лавку. Да, подумал гость, полицейского звать бессмысленно. Срама не оберешься, а по счету все равно придется уплатить.

Как только хозяйка получила указанную в счете сумму, вперед вышла Каттян, дожидавшаяся, когда придет ее черед, и потребовала свою долю. Гость обомлел.

— И чего это вы кислую рожу корчите, бесстыжие ваши глаза! — перешла в наступление Каттян. — Сколько раз водили меня в отдельную комнату, набаловались власть — и все даром?!

Гость уплатил и Каттян и позорно покинул поле боя.

— А все потому, что начал задаваться, унижить нас решил своей стоиеновой бумажкой. Вот и получил, что полага-

лось! — заключила свой рассказ Осэй и со смехом добавила: — А уж Каттян меня удивила. Пока гость надевал у порога ботинки, она быстро сбегала на кухню, принесла плошку с солью и посыпала позади него порог: мол, не к добру, когда с плохим человеком дело имеешь. Потом Каттян собрала тех шестерых девиц, и все они отправились на двух такси в Токио развлекаться. Даже в театр пошли. В столице они промотали все денежки, полученные от заезжего простака. Все промотали. Красота! И теперь снова надолго без гроша в кармане, — со вздохом заключила Осэй.

Что я мог ей сказать на это?

## Как я купил голубую плоскодонку

Впервые с дедом Ёси я повстречался в купальне. Дело было зимой, из купальни все уже вывезли, остался лишь навес из наполовину сгнившего камыша да одна довольно широкая скамья. Я глядел на море. Гвозди, которыми была прибита скамья, сильно распатались, и на ней можно было сидеть, лишь крепко упершись ногами в землю. Наступило время отлива, и мелеющее море постепенно обнажало свое неопрятное дно. Стало заметно, как вода из канала узкой мутно-серой струей вливалась в море. Внезапно скамья резко покачнулась и угрожающе затрещала. Я инстинктивно изо всех сил уперся ногами в землю и оглянулся. Позади меня сидел неизвестно откуда появившийся старик. Не обращая на меня внимания, он достал из-за пазухи старомодный кигет. Я снова занял прежнюю позицию и стал глядеть на море.

— Много лет тому назад здесь собирались что-то строить,— закричал старик так громко, словно обращался к собеседнику, находившемуся от него в доброй сотне метров.— Собирались-то собирались...

Я промолчал, предполагая, что старик говорил со стоящим в отдалении собеседником, на которого я поначалу не обратил внимания. Но никто ему не ответил. Старик шумно продул трубочку, набил ее табаком и затянулся. Трубочка была сильно засорена никотином и при каждой затяжке издавала звук, напоминавший хрипение астматика.

— Давно это было. Еще до того, как Оцую вышла замуж за торговца хлопком,— все так же громко продолжал дед. Потом на минуту умолк, выбил трубочку, снова набил ее табаком и заорал: — Да так ничего и не построили...

Я продолжал молча глядеть на море.

В другой раз мы встретились на большом болоте, заросшем камышом. Была весна. С моря дул сильный ветер. Я шел

по дороге вдоль второй протоки, направляясь к храму Бэнтэн. Безлюдный, полуразрушенный маленький храм, окруженный несколькими древними соснами, располагался в самом центре этого унылого, обширного болота. Говорят, что в прежние времена храм был чрезвычайно модным и сюда на поклон богине Бэнтэн<sup>1</sup> стекались девицы из веселых кварталов. Местные жители не ведали, каково чудотворное действие Бэнтэн, но даже детям было известно, что в свое время храм пользовался огромной популярностью, паломники тянулись к нему бесконечной чередой, а в храмовом дворе царил необыкновенное оживление.

Подгоняемый сильным, доносящим запахи моря бризом, я прошел уже полдороги до храма, когда неожиданно был остановлен громовым голосом. Я вздрогнул от неожиданности, оглянулся и увидел шедшего за мной старика. На нем была выцветшая, латанная во многих местах широкая куртка и ватные штаны — обычная одежда местных рыбаков; правда, для ватных штанов сезон еще не наступил. Щеки его закрывало намотанное на голову грязно-серое полотенце.

— Не купишь ли лодку?! — заорал дед, идя рядом со мной. — Ах, черт, опять курево забыл. У тебя не найдется ли?

Я передал ему папиросы и спички. Старик вытащил из пачки одну папироску, зажал ее между зубами, чиркнул спичкой, умело закрываясь от ветра, и закурил. Остальные папиросы и коробок со спичками спрятал за пазуху.

— Хорошая есть лодка, — загремел дед, словно обращаясь не ко мне, а к соснам, видневшимся в паре сотен метров впереди. — Добрая лодка — и стоит дешево. Покупай — не прогадаешь.

Я ответил. Старик никак не прореагировал. Спокойно, словно иного ответа он и не ожидал, притушил папиросу о землю, заложил окурок за ухо и громко высморкался в кулак.

— Послушай, — заговорил он неожиданно обыкновенным голосом. — А по какой надобности ты приехал сюда, в Уракасу?

После некоторого раздумья я ответил.

— Угу, — старик покачал головой. — Что-то я не пойму, ремесло-то у тебя есть?

---

<sup>1</sup> Бэнтэн (или Бэндзай-тэн, санскр. Сарасвати) — буддийская и индуистская богиня музыки, красноречия, долголетия, мудрости.

Я ответил. Старик минуту над чем-то раздумывал, потом заорал:

— Выходит, ты безработный!.. Может, жениться надумал — так у меня есть невеста на примете. Ух, и хороша девка!

Я промолчал. Когда мы прощались, дед вернул мне только спички и тут же прикинулся глухим. Я трижды просил его отдать папиросы, а он, приставив ладонь к уху, все переспрашивал, пока я не устыдился своего скупердяйства и не оставил его в покое.

В третий раз я столкнулся со стариком в небольшом рестораничке «Нэтогава», где подавали европейские блюда. Помимо общего зала в ресторане имелся отдельный кабинет. Вечерами там собирались любившие повеселиться матросы с рейсовых пароходов и рыбаки, чтобы отпраздновать хороший улов. Однажды около полудня, когда я, сидя в общем зале на угрожающе скрипевшем от каждого движения стуле, ел рис со свиными котлетами и не спеша потягивал пиво, вошел старик и без спросу уселся за стол прямо напротив меня.

Если я обедал вне дома, я всегда за едой что-нибудь читал. Эта привычка сохранилась у меня по сей день. В тот раз я тоже читал какую-то книжонку и, когда старик уселся за мой столик, еще упорней уставился в книгу, продолжая жевать и запивать еду пивом.

— Что будете есть, дедушка Ёси? — спросила появившаяся со стороны кабинета официантка.

— Мм,— промычал дед.— Старухи сегодня нет дома, вот я и зашел сюда перекусить, но никак не придумаю, что бы такое заказать.

— Ничего особенного у нас нет, так что и раздумывать нечего,— сказала девушка.

Тогда старик, глядя на меня — а он не отрывал от меня взгляда с той самой минуты, как уселся напротив,— заорал:

— Подай стакан пива!

— Стакан пива? — удивленно переспросила официантка.— Таких заказов мне в жизни не приходилось принимать. Вы не спутали с водкой, дедушка?

— Съезди в Токио — убедишься, там пиво стаканами продают.

— Так то в пивных барах.

— Твоя забегаловка тоже на европейский лад устроена, раз здесь свиные котлеты да рис с кари<sup>2</sup> подают.

<sup>2</sup> К а р и — острая специя, употребляемая в пищу.

— Дедушка, в розлив идет только бочковое пиво, а здесь бутылочное. Я тебе из бутылки стакан налью, а остальное выдохнется. Его же никто потом пить не станет.

— А черт с ним, — заорал старик. — Ничего-то ты в коммерции не смыслишь. Бывает, потеряешь на грош — выгадаешь на тыщу.

Я смекнул, что оказался в ловушке и выпутаться из нее можно только одним путем. Я пододвинул к старику недопитую на треть бутылку.

Не успел я и рта раскрыть, как старик завопил:

— Стакан!

Потом, глядя на меня, спросил:

— Табачку не найдется?

Я ответил.

— Ничего, обойдусь. Не так уж и хочется, — сказал старик.

Кое-какие подробности об этом занятом старике я узнал от Тё, сына хозяина лодочной станции «Сэмбон». Тё, так же как и дочь корзищицы Отама, снабжал меня исчерпывающей информацией о различных происшествиях в Уракасу. Оба они учились в третьем классе местной начальной школы. Я узнал, что старика зовут Ёси, что работает он сторожем на складах «Дайтё» и живет вдвоем со старухой позади Трех сосен. Фирма «Дайтё» владела самой крупной в здешнем городке устричной консервной фабрикой, а также судном «Дайтё-мару», на котором скунались устрицы у рыбаков прямо в море.

— Старик любит прикидываться глухим, — сообщил мне Тё. В этом я уже имел возможность убедиться и сам.

Когда мы с дедом Ёси встречались на улице, тот не здоровался, не отвечал на приветствие и глядел на меня так, словно я был неодушевленным предметом — булыжником на дороге или колом в заборе.

Повязанное полотенцем лицо старика было худым и маленьким, коричневый, выдубленный солнцем и ветром череп был лыс — лишь кое-где на затылке торчало несколько пучков пепельных волос. На щеках и подбородке, словно из старой щетки, торчали отдельные серебряные волоски. Глаза сверкали холодно и пронзительно, на тонких, как ниточка, почти невидимых губах застыла презрительно-хитроватая усмешка.

Такое выражение лица было свойственно не только деду Ёси, но и некоторым другим местным жителям, которые любили поживиться за счет экскурсантов и туристов, приезжавших сюда ловить рыбу, собирать раковины во время отлива и просто купаться. Они всегда были готовы прикинуться такими простаками, в любую минуту сменить холодный, пронзительный взгляд и лукавую ухмылку на приветливую, дружелюбную улыбку.

Не то в конце апреля, не то в начале мая во время прогулки близ Трех сосен я все же попался в лапы к деду Ёси.

Хотя это место и называлось Три сосны, там росла всего одна древняя сосна. Местные жители говорили, что в давние времена их было три, но, насколько мне известно, никто из них своими глазами трех сосен там не видел. Около одинокой сосны, простершей свои корявые ветки над каналом, лежала перевернутая плоскодонка. По-видимому, ее уже давно не спускали на воду. Проходя мимо, я всегда видел ее в одном и том же положении. Плоскодонки такого типа рассчитаны на одного человека, ими пользуются для добывания устриц и нори. Это маленькое, легкое суденышко, напоминающее по форме узкий лист бамбука, имеет в центре мачту, на которую ставят небольшой треугольный парус. Но та плоскодонка, которая лежала на берегу у сосны, была широка и неуклюжа, да еще окрашена снаружи в грязно-голубой цвет.

— Знаю, о какой лодке вы говорите, — ответил однажды на мой вопрос Тё, и на лице у него обозначились презрительные морщинки. — Это та самая пузатая голубая плоскодонка. Глаза бы мои на нее не глядели.

Лодка действительно казалась страшно неуклюжей, доски на днище у нее рассохлись, и в одном месте из щели торчали пучки пожелтевшей прошлогодней травы. Трудно представить себе более жалкое, грустное зрелище, чем вытащенная на берег старая лодка. Она напоминает дряхлую, никому уже не нужную, забытую хозяином лошадь, стоящую, понурив голову, позади конюшни.

В тот день я остановился у старой сосны, курил и, глядя на плоскодонку, думал о том, что людей тоже подстерегает такая же участь.

Внезапно ко мне подошел старик Ёси. По-видимому, он уже давно был здесь и внимательно наблюдал за мной. Решив, что я просто без ума от его плоскодонки, он изобразил на лице приятную улыбку и радостно заорал:

— Купите эту лодку!

Не получив ответа, он стал меня убеждать:

— Сэнсэй изучает здешние места и уже немало побродил по суше. Не пора ли по реке Нэтогава поплавать, протоки на болоте поглядеть, в море выйти. Тут без плоскодонки не обойтись. Поглядите на нее! — вскричал дед, быстрым движением перевернув лодку. — Она, конечно, не новая, ее построили семь лет тому назад, но, если за ней как следует ухаживать, она лет пятнадцать, а то и двадцать еще послужит.

Я попытался ему возразить, но старик не дал мне произнести ни слова.

— Задешево продам, — гремел дед Ёси. — Уж очень вы человек хороший. Так и быть — за пятерку.

Я ответил.

— А как насчет курева? — старик протянул руку.

Я передал ему папирсы и спички.

Дед Ёси взял одну папиросу, закурил, сунул остальные за пазуху, а мне возвратил только спички.

— Ну ладно! — завопил он. — Вам, так и быть, продам за четыре. Всего за четыре!

Я ответил.

Старик притушил папиросу о землю и сунул окурок за ухо. Я вспомнил презрительную гримасу на лице Тё, когда он говорил о голубой плоскодонке, но в то же время почувствовал, что неумолимо иду в расставленную стариком ловушку, из которой мне уже не выбраться.

— Вы только поглядите! — орал тем временем старик. — Лодку вытащили на берег, вот она и рассохлась немного. А в остальном она вполне прочная.

Он бережно гладил борта плоскодонки, слегка постукивал по ее носу.

Слушая старика, я думал о том, что побудило его перевернуть лодку столь быстрым движением? Он, должно быть, хотел продемонстрировать легкость плоскодонки, но в то же время отвлечь мое внимание от дыры в днище, из которой торчали пучки прошлогодней травы. И в тот момент случилось такое, о чем я решил было даже не писать — опасался, что читатель поднимет меня на смех.

Когда дед Ёси ухватился за нос плоскодонки и покачнул ее, кончик носа отломился и остался у него в руке. Дед поспешно поплевал на надлом, быстро приставил к нему отломившийся конец и, прижимая его рукою, завопил еще громче. Ей-богу, все это я видел своими глазами, но когда изложил на бумаге, то подумал: скажут, писатель чересчур увлекся и ре-

шил посмеяться над доверчивым читателем. Это маленькое событие лишней раз доказывает, сколь трудно бывает нашему брату «писать правду».

— Ладно, давай три с полтиной. Больше ни гроша не уступлю. Три с полтиной — последняя цена. Ну, по рукам, что ли?

Я задал ему еще один вопрос.

— О такой мелочи не стоит и беспокоиться. Корабельный плотник из Икадзути в момент отремонтирует! Хочешь, я сам его попрошу,— ответил старик. Потом поспешно добавил: — Обычай есть: при такой купле-продаже покупатель должен что-нибудь дать в придачу — ну, сто моммэ<sup>3</sup> свинины, или, если сделка заключена летом, два-три арбуза, или табачок. Вы, кажется, заморские папиросы курите?

Я сказал, что принесу свинину.

Так я стал обладателем голубой плоскодонки, полноправным владельцем лодки — пусть маленькой, пузатой и неказистой на вид. Однако я не ощутил ни радости, ни гордости. Стоило мне представить презрительные взгляды и едкие насмешки Тё и других ребяташек, как меня охватывал стыд и я впадал в уныние.

— Черт с ней, с этой плоскодонкой,— уговаривал я себя на обратном пути.— Вполне приличная лодка, если на ней не плавать.

На следующий день я отнес деду Ёси деньги за лодку и сто моммэ свинины и еще раз попросил его помочь с ремонтом. Дед с готовностью пообещал, что все будет исполнено в лучшем виде.

---

<sup>3</sup> М о м м э — мера веса, равная 3,5 г.

## Волосатый краб

Мотои с четырнадцати лет плавал на седьмом рейсовом пароходе компании Касай. В двадцать три года он получил диплом механика и перешел на двадцать восьмой. В армии он не служил: ростом не вышел — было в нем чуть больше полутора метров. Коренастый крепыш с квадратным, заросшим волосами лицом, на котором, казалось, навечно застыло хмурое выражение, Мотои обладал таким сильным голосом, что ему стоило колоссального труда выдавить из себя лишнее слово. Возможно, поэтому, а скорее из-за своего нелюдимого характера он крайне редко с кем-нибудь заговаривал.

Мотои прозвали Мокусё. Мокусё — краб, которого в больших количествах вылавливают в зимний период. Он круглый, как рисовый колобок, коричневый и покрыт волосами. Поэтому его называют еще «волосатый краб». Это прозвище как нельзя лучше подходило Мотои. Еще в ту пору, когда Мотои служил матросом, у него появилась любимая девушка. Она была на два года моложе Мотои, звали ее Осай. Родители Осай занимались мелочной торговлей и, кроме того, имели небольшой ресторанчик «Усуда» с европейской кухней. Днем Осай работала в мелочной лавке, а вечерами помогала в ресторане. Смуглая, небольшого роста, не лишняя привлекательности, Осай проворно обслуживала посетителей, была остра на язык и никому не давала спуска. Ресторан стоял на оживленном месте, как раз напротив пристани, где швартовались рейсовые пароходы, и среди его постоянных посетителей было немало моряков. Часто собирались здесь местные рыбаки и молодежь, чтобы отметить какое-нибудь событие. Кроме Осай гостей обслуживали две официантки — разбитные, густо напудренные девицы, от которых исходил одуряющий запах дешевого одеколona. Они бесцеремонно садились на колени посетителям, затягивались их сигаретами — в общем, вели себя развязно и были уверены, что именно в этом суть современного сервиса.

Осай появлялась в ресторане в будничном платье, без пудры и румян, проворно разносила по столикам закуски, бутылки с пивом и саке, покрикивала на девиц, если они сставляли посетителей без внимания. Однако по отношению к себе никаких вольностей не допускала, и если какой-нибудь прощелыга пытался отпустить сальную шутку или давал волю рукам, Осай умела так отбрить нахала, что тот не знал, куда деваться от стыда.

Случилось так, что эта самая Осай полюбила Мотои. Время от времени Мотои заходил в лавку купить сандалии из соломы, блокнот или другие мелочи, необходимые в его холостой моряцкой жизни, иногда заглядывал и в ресторан. Но не то чтобы заговорить с Осай — он глаза на нее поднять не решался. И никто не знал, когда и как стоворились они пожениться. Однажды, выпив по стаканчику, друзья стали подтрунивать над Мотои: мол, куда тебе, волосатому крабу, на механика вытянуть, ты и начальную-то школу с грехом пополам закончил, да тебе выучиться на механика все равно что на лысой голове шикарную прическу сделать. И все в таком духе. Мотои не отвечал на насмешки, только все ниже склонял к тарелке с рисом и кари побагровевшее от стыда лицо. Тут-то и появилась Осай и задала перцу насмешникам. Ее загорелое лицо побледнело от негодования, на глазах выступили слезы.

Именно с той поры стали поговаривать, что Осай и Мотои подружились. Надо сказать, что матросы с рейсовых пароходов по-иному стали смотреть на Мотои. Шутка ли сказать! Не кто-нибудь, а «волосатый краб» завладел сердцем неприступной Осай. Мотои старался не прислушиваться к тому, о чем судачили вокруг, продолжал упорно учиться и наконец получил диплом механика.

Каковы были в ту пору отношения между ним и Осай — неизвестно. Встречались ли они наедине, шептали ли друг другу любовные слова или спорили и ругались — никто толком сказать не мог.

Мотои поступил машинистом на двадцать восьмой, и теперь все называли его не иначе как механик Мотои. Вскоре Мотои отправился в свою родную деревню — поклониться могилам предков и заодно известить родичей о своих успехах. Сначала он ехал поездом, потом еще полдня — автобусом, потом несколько ри<sup>1</sup> шел пешком, пока не добрался до род-

---

<sup>1</sup> Ри — мера длины, равная приблизительно 4 км.

ной деревушки, затерявшейся в горах префектуры Иватэ. Конечно, он сообщил своим родственникам и о том, что собирается жениться. Погостив с полмесяца в деревне, он вернулся и сразу же поспешил с подарками к ресторану «Усуда». Завидев Мотои, Осай выскочила ему навстречу и, выставив вперед пальцы наподобие крючьев, дрожа от негодования, обрушила на Мотои целый поток брани.

— Ты подлая тварь и бесстыдник! — кричала она. — Завел себе в Токуюки какую-то Фудзи. У нее и ребенок от тебя. А я-то, дура, верила тебе.

Мотои оторопело глядел на нее, ничего не понимая.

— Нечего дурачком прикидываться! — неистовствовала Осай. — Я встречалась с этой женщиной, и она мне сама все рассказала. Так что ты, подлый бабник, теперь меня не проведешь.

Мотои пытался возразить. Проклиная в душе свое косноязычие, он старался доказать ей, что не знает никакой женщины по имени Фудзи. Но все было напрасно.

— Слышать не желаю твое вранье, — орала Осай, угрожая размахивая перед его носом кулаками. — Катись отсюда, и чтобы духу твоего здесь не было.

С этими словами Осай вернулась в ресторан и захлопнула дверь перед носом Мотои.

Можно себе представить, каково было все это слышать ни в чем не повинному Мотои. Бессильно опустив руки, он постоял перед закрытой дверью, потом положил у входа подарки и ушел не оглядываясь.

Никто не мог в точности сказать, была ли на самом деле у Мотои женщина по имени Фудзи. Моряки с рейсовых пароходов предпочитали веселиться в Уракасу, изобиловавшем значными местами, но некоторые не отказывались от женщин в Токуюки, конечном пункте пассажирской линии. Мотои не раз останавливался в Токуюки, и вполне можно было предположить, что у него есть там подруга.

Проще всего ему было отправиться в этот городок, призвать эту самую Фудзи в свидетели и таким путем доказать свою невиновность. Но Мотои так не поступил. Он повел себя как мудрец Диоген: замкнулся в себе, как в бочке, да еще сверху крышку захлопнул. Мотои снял комнату в одноэтажном бараке, сам себе готовил еду, стирал — в общем, полностью себя обслуживал. Во время рейсов он молчал, вступая в разговор лишь в самых необходимых случаях, а возвратившись в свою каморку, оставался наедине с собой, ни с кем из

соседей не общался, да и к себе в гости не приглашал. Когда выпадало свободное время, он сам с собой играл в шахматы, это было его единственным развлечением.

И душа его постепенно обновлялась. Что-то из нее уходило, подобно тому как из появившегося в бочке отверстия вытекает вода, и вместе с тем она наполнялась чем-то новым. Мотои совсем перестал общаться с окружающими. С некоторых пор у него появилась привычка говорить с самим собой.

Вернувшись с работы, он останавливался перед ставнями, некоторое время глядел на них, потом тихо говорил: «Сейчас открою эти ставни». Открывал ставни, открывал раздвижную решетчатую дверь, входил в дом и говорил: «Теперь закрою дверь» — и закрывал ее. Он пояснял вслух каждый свой шаг, пока умывался, менял одежду, готовил ужин, убирал со стола, принимал ванну и укладывался спать.

Играя в шахматы, он комментировал игру — свою и предполагаемого партнера, радовался по случаю удачного хода, ругал себя из-за каждой промазки, посмеивался над неудачами партнера. Казалось, будто за шахматной доской сидят два равных по силе и похожих по стилю игры хороших друга и спокойно наслаждаются игрой, зная, что никто им не помешает.

Тем временем Осай вышла замуж за владельца солидного ресторана в городе Фуса, расположенном на берегу реки Тонэ. Но спустя год с небольшим муж Осай умер, оставив ее с новорожденной дочкой на руках. Жизнь со свекровью у Осай не заладилась, и, кое-как дотерпев до конца положенного срока траура, она вернулась с девочкой в отчий дом. Нетрудно понять, как горько было такой своенравной женищине, как Осай, возвращаться к родным, да еще с ребенком. Однако Осай ни единым словом не выдала себя, не показала, как ей тяжело. Как и прежде, она помогала в мелочной лавке и в ресторане. Правда, теперь она приветливее относилась к посетителям, более дружелюбно подтрунивала над ними, а когда подвыпивший гость отпускал двусмысленную шутку или давал волю рукам, не сердилась, как когда-то, и не отказывалась от стаканчика крепкого, если ей предлагали, а захмелев, приятным голосом запевала песню.

Однажды, когда двадцать восьмой стоял у пристани, Осай отправилась к нему и заглянула в машинное отделение.

— Эй, механик! — окликнула она возившегося у машины Мотои. — Давненько мы с тобой не виделись. Заглянул бы как-нибудь.

Мотои улыбнулся, помахал рукой, но ничего не ответил. В другой раз она появилась у двадцать восьмого с ребенком на руках. Позвала Мотои и, протянув ему девочку, сказала:

— Это Харуми. Я родила ее в Фуса. Правда, симпатичная?

Мотои слегка кивнул головой, неопределенно улыбнулся, но опять не сказал ни слова.

Осай часто приходила на пристань, когда двадцать восьмой стоял у причала, и всякий раз приглашала Мотои в гости. Мотои улыбался, делал неопределенные жесты руками.

Однажды вечером после ужина Мотои, как обычно, расположил под тусклой лампочкой шахматную доску и, разговаривая сам с собой, как он это делал последние годы, стал расставлять на доске фигуры. Доска была старенькая, купленная по случаю в магазине подержанных вещей, но на ножках. Фигуры, отлично выточенные из японского самшита, издавали приятный, холодноватый звук, когда их ставили на доску.

— Вчера, кажется, твой был первый ход, — тихо вздохнув, произнес Мотои. — Значит, сегодня я пойду первым.

Мотои успел сделать несколько ходов, когда в дверь постучали. К нему так редко заходили люди, что он даже не обратил внимания на стук, решив, что это гости к его соседу — механику Акиба. Но стук повторился, и Мотои окликнули по имени. Он нехотя встал, бросил взгляд на доску, чтобы запомнить позицию, и пошел к двери. В дверях стояла Осай. Она была в выходном кимоно, густо напудрена. От нее исходил резкий запах дешевого одеколона, того самого, который употребляли официантки из ресторана «Усуда».

— Я пришла просить у вас прощения, — сказала Осай, заискивающе улыбаясь. — Можно войти?

Мотои стоял как вкопанный и молча улыбался. По выражению его лица невозможно было понять, приглашал он Осай войти в дом или отказывался ее принять.

Осай пригладила рукой волосы и сказала:

— Ну, ладно. Сегодня я спешу, поэтому разрешите мне прямо здесь извиниться перед вами.

Выражение лица Мотои не изменилось.

— Простите меня, я тогда поступила нехорошо, — потупившись, произнесла Осай. — Все, что я наговорила вам о женщине по имени Фудзи, неправда. Кто-то мне намекнул на вашу связь — я и вспыхнула. Ни к какой Фудзи я не ездила

и, уж конечно, с ней не разговаривала. Все это я придумала, надеясь, что вы станете возражать, рассеете мои подозрения.

Глаза Мотои сузились. Разве он тогда не сказал Осай, что никакой Фудзи у него не было, что все это ложь? Но ведь Осай и слышать ничего не хотела. Может быть, Мотои вспомнил об этом, но не возразил Осай и лишь молча глядел на нее слегка сузившимися глазами.

— Но вы ничего не сказали мне,— продолжала Осай.— И я... я решила тогда: пусть будет как будет! По правде говоря, именно вы поступили нехорошо.— Осай возвысила голос.— Если это была ложь, сказали бы прямо: мол, все это досужие слухи и выдумки! Почему же вы промолчали? Почему?

Мотои улыбнулся.

— Ну да ладно, все это в прошлом. И к тому же,— во взгляде Осай снова появилось заискивающее выражение,— своим поведением вы доказали свою правоту: ведь и после того, как я вышла замуж и уехала в Фуса, вы ни на ком не женились. Когда я узнала об этом, я так обрадовалась, даже плакала от счастья.— Осай поспешно вытерла глаза.

Да, у Мотои было чувство собственного достоинства. Он не выставлял его напоказ, но свято хранил все эти годы. А чего только не пришлось ему вытерпеть с тех пор, как Осай прогнала его: ядовитые насмешки и злословие окружающих, намеки и сальные шуточки по поводу его связи с Фудзи, о которой он и слухом не слыхивал! И только чувство собственного достоинства помогло ему все это перенести, только оно позволяло ему и теперь с неопределенной улыбкой выслушивать болтовню Осай, не порицая ее и не жалуясь на свою судьбу.

— Я в любую минуту готова вернуться,— тихим голосом продолжала Осай.— Вы ведь понимаете, о чем я говорю. Поверьте, у нас все будет хорошо.

Мотои молча слушал.

— Обязательно все наладится.— В голосе Осай прозвучала уверенность.— Я сразу же приду, как только вы позовете. Надеюсь, вы понимаете меня, понимаете мои чувства?..

Мотои улыбнулся чуть шире, медленно поднял руку и слегка пошевелил пальцами. Трудно было предположить, что означал этот жест, а может быть, он и вовсе ничего не значил.

— Можете особенно не торопиться,— спохватилась Осай, пытаясь сгладить свою настойчивость и нащупать правиль-

ную линию поведения.— Я, собственно, не спешу и вас торопить не намерена. Понимаете?

Мотой молчал.

— Заходите в гости,— прощаясь, сказала Осай,— я научилась так рис готовить — пальчики оближешь. С репчатым луком и говяжьим жиром. А как попробуешь — не поверишь даже, что только лук да жир там. Приходите почаще. Буду вас ждать.

Улыбка Мотой стала еще шире, но он и на этот раз ничего не ответил.

— Бревно бесчувственное,— прошипела Осай, выйдя на улицу.— Грязный волосатый краб, я тебе еще это припомню.

Когда Осай ушла, Мотой медленно вернулся в комнату, уселся, скрестив ноги, перед шахматной доской и, глубоко вздохнув, уставился на фигуры.

— Значит, ты так пошел,— пробормотал он,— решил меня обыграть. Не выйдет! Ну-ка, а как ты на это ответишь? Что, не нравится?!

Он взял двумя пальцами фигуру и припечатал ее к доске. Фигура издала холодноватый, приятный звук.

## Диалог о песке

— Песок не так прост, как кажется, — говорит Томи.

— А что же в нем такого особенного? — спрашивает Кура.

Разговор происходил майским вечером на море, куда друзья пришли «топтать» рыбу. В полнолуние, когда отлив бывает особенно сильным, море близ Уракасу мелеет и чуть ли не на целое ри обнажается дно. Кое-где в выемках остается вода — сантиметров на десять-пятнадцать выше лодыжки. В такие ночи опытные рыбаки отправляются на море «топтать» рыбу. Способ этот несложен: идешь по освещенной лунным светом воде, находишь подходящее, на твой взгляд, место, останавливаешься и поднимаешься на носки. Под ступней образуется тень, куда и устремляется рыба, спасаясь от яркого света луны. Тогда, выбрав подходящий момент, быстро опускаешься на пятки и прижимаешь рыбу ко дну. Остается только проткнуть ее заранее приготовленной длинной спицей — и добыча у тебя в руках. Автор и сам пытался таким способом ловить рыбу — она действительно подплывала под ступню. Рыбаки обычно «топтали» камбалу и терпуга, а в летнюю пору — крабов. Правда, при ловле краба нужна особая сноровка.

— Вот он, песок! — Томи ловко протыкает спицей прижатую ко дну рыбу и, сбросив ее в проволочную корзинку, разминает на ладони прихваченные вместе с рыбой песчинки.

— Поглядишь на него — песок и песок! Ничего в нем нет особенного. Ведь так?

— Угу, — бормочет Кура, вглядываясь в воду.

Полная, яркая луна, какой она бывает в семнадцатую ночь месяца, висит прямо над головой. Над водой поднимается едва заметная кисея тумана, и лунный свет, проходя через нее, освещает все вокруг бледным, призрачным сиянием. Издали доносятся тихие голоса: должно быть, и другие рыбаки пришли в этот вечер на море «топтать» рыбу.

— А знаешь ли ты? — говорит Томи, тихо переступая по воде и продолжая разглядывать оставшиеся на ладони песчинки. — А знаешь ли ты, что вот этот самый песок — живой!

Кура подозрительно поглядел на друга. Краснощекий, с мужественным лицом и тяжелым подбородком, Кура обычно никогда не противоречил другу, но сейчас у него возникло сомнение в истинности того, что говорил Томи.

— Ну, это ты загнул, — бормочет он, не отрывая глаз от воды.

— Все так считают, и никто мне не верит, — возмущается Томи, становясь на носки. — Все говорят: песок — он песок и есть. Но это не так. Он живой! И, как все живое, песок растет.

Кура намеревается возразить, но в этот момент под его ступню подплывает рыба. Он ловко прижимает ее ко дну и прокалывает спицей. Попалась камбала сантиметров двадцать длиной.

— Говоришь, песок растет? — спрашивает он, кидая камбалу в проволочную корзину.

— Ага, — подтверждает Томи. — Но это еще не все: песок растет и постепенно поднимается вверх по реке. Вот что удивительно!

Кура задумчиво чешет средним пальцем правой руки затылок.

— Здесь, на Нэтогава это не так заметно, а вот на других реках сразу бросается в глаза. Сам небось знаешь, что ближе к морю песок мелкий. А если подниматься вверх по течению, песок превращается в гальку, а дальше — в большие камни и даже в скалы.

— Угу, — задумчиво произносит Кура, — похоже, так оно и есть.

— И ведь никто не обращает на это внимания, — говорит Томи.

— Но как же он умудряется подниматься вверх по реке? — спрашивает Кура.

— Я своими глазами, вот этими глазами видел, — настаивает Томи, вкладывая в эти слова одновременно рассудительность и страстность ученого-исследователя. — Если подняться к верховью реки, там прямо в воде лежат здоровенные камни. А раньше они были много ниже по течению. Представь себе: сегодня камень был вот здесь...

— Угу, — бормочет Кура, глядя на палец Томи, указывающий на водную гладь.

— А спустя несколько дней он поднимается вон туда.— После короткого раздумья Томи указывает рукой на место ближе к берегу.— За два-три дня камень передвигается метров на пять, а то и на все десять.

— Как же он поднимается вверх по течению? — удивленно спрашивает Кура.

— Вот и я этого раньше не знал,— говорит Томи и с самодовольной улыбкой, словно игрок, припрятавший козырную карту, продолжает: — Как может песок передвигаться, думал я, рук и ног у него нет, рыбьих плавников и хвоста тоже нет. Тогда я стал внимательно изучать его повадки.

Кура, позабыв приподняться на носки, во все глаза глядит на своего друга.

— И, наконец, я понял, — продолжает Томи.— Вот как это происходит. Предположим, в реке лежит большой обломок скалы.

Кура молча кивает головой.

— Вода в реке течет от верховья к устью — в этом ничего удивительного нет. А в воде, значит, лежит обломок скалы. Обтекая его, вода вымывает часть песка и ила перед скалой, и получается вроде бы ямка. И на море то же самое происходит: встань лицом к морю и убедись: когда волна отходит, она уносит с собой песок из-под твоих пяток.

— Ага, значит, скала может свалиться в эту ямку? — догадывается Кура.

— Вот именно! — восклицает Томи.— Понимаешь, вода с верховьев течет вот так. Все больше вымывает песок из-под скалы, вымывает до тех пор, пока скала не теряет равновесия и не заваливается в сторону, противоположную течению реки. А вода все течет и течет, не переставая, и снова начинает вымывать песок из-под скалы, и снова скала перемещается вверх по течению. Так день за днем она поднимается по реке все выше и выше.

Кура не может сдержать возгласа удивления и, восхищенно глядя на друга, говорит:

— Выходит, у песка соображение есть?

— Само собой!

— У этого самого песка? — Кура нагибается, захватывает пригоршню песка и медленно разминает его на ладони.— Просто не верится.

— Еще бы,— задумчиво говорит Томи.— Я и сам поначалу никак не мог поверить, что вот эти песчинки — живые!

— Мне такое и в голову никогда бы не пришло, — говорит Кура.

— Блаженны те, кто живет в неведении, — со вздохом произносит Томи. — И я был таким, пока не понял, что к чему. А когда дошло до меня, что песок живой, я и подумал: не все в этом мире так просто, как кажется на первый взгляд. Такой он обыкновенный на вид, а оказывается, живет, своей жизнью живет! — Томи указывает подбородком на горстку песка, которую Кура все еще держит на ладони.

— Угу, — бормочет Кура.

— И не только живет, но еще и растет, взрослеет и, по мере того как взрослеет, поднимается вверх по течению... И откуда же у него такой разум берется? Как подумаешь об этом, прямо оторопь берет.

— Угу, — бормочет Кура, разглаживая пальцем песок на ладони.

В ночной тишине слышно, как где-то играет рыба, ударяя хвостом по зеркальной морской глади. Продолжая свою неторопливую беседу, друзья направляются к берегу.

## Песок и гранат

Горо, сын владельца лавки заграничных товаров «Мисо-но», женился. Ему было двадцать четыре года, и жители Уракасу уважительно называли его Горо-сан. Его невесте Юико исполнился двадцать один год. Она была родом из богатого помещичьего дома в Синодзаки, что в четырех километрах от Уракасу, вверх по реке.

Горо обладал спокойным характером, был невысок ростом, чуть побольше полутора метров, худощав и бледен лицом. Жил он вместе с отцом и младшей сестрой, старшая несколькими годами раньше вышла замуж и переехала в дом родителей мужа, на Хоккайдо. Мать долгие годы страдала от болезни почек. Нынешним летом отмучилась. Сразу же после ее смерти Горо надумал жениться.

Свадьбу сыграли в ресторане «Ямагути». Была приглашена вся местная знать во главе с мэром города. Всего собралось больше двадцати человек. Говорят, среди подарков был огромный морской карась — тридцать пять сантиметров от головы до хвоста. Начальник пожарной команды Ванихиса, обидевшись, что его не позвали на свадьбу, основательно подрызгался и, обнимая пожарную каланчу, орал не переставая:

— Погодите, я им испорчу эту поганую свадьбу. Вот заберусь на каланчу да как ударю в набат!.. Не мешайте мне, отойдите все в сторону! Переполошу весь город — тогда и свадьбе конец!

Никто, собственно, и не думал останавливать Ванихису. В Уракасу вряд ли сыскался бы глупец, который захотел бы приостановить столь любопытное зрелище. Зеваки, держась на приличном расстоянии, посмеивались и подзадоривали Ванихису, наблюдая за его тщетными попытками взобраться на каланчу. Ванихиса поднимался по пожарной лестнице на две-три перекладины, соскальзывал вниз, вновь поднимался и вновь соскальзывал. Это еще больше распяляло его.

— Что за дурацкие шутки! Кто смеет надо мной издеваться?! — орал он. — Прочь с дороги! Прочь — не то покажу, где раки зимуют!

Совершенно обессилив, он ухватился обеими руками за перекладину, прислонился к лестнице, да так и уснул. Прибежала жена Ванихисы, с трудом разбудила захмелевшего супруга и увела домой.

Свадебное торжество в ресторане «Ямагути» благополучно завершилось, и молодожены отправились домой. Судьба пока улыбалась Горо. Он окончил всего лишь начальную школу, а жена — женский колледж в Токио. Был он простым, неказистым парнем, а жену себе взял миловидную, со столичным образованием. Горо считал, что ему здорово повезло, и его сердце переполняла радостная тревога — чувство, знакомое актеру, когда занавес поднимается и он впервые предстает перед зрителями на сцене. Но неожиданно-негаданно судьба перестала расточать Горо улыбки и показала ему язык.

Как только молодые супруги вошли в спальню, Юико стала сыпать песок вокруг своей постели. Перехватив рукой горловину льняного мешочка, она высыпала из него песок узкой струей, сооружая песчаную баррикаду. Горо недоуменно наблюдал за ее действиями. И лишь когда Юико улеглась в постель, которая оказалась теперь в центре песчаного круга, он пришел в себя и спросил:

— Это заклинание, что ли?

— Никакое не заклинание. Просто мне сказали, что я должна это делать до тех пор, пока не окончится траур по матушке.

Горо на минуту задумался:

— Когда же она изволила скончаться?

— Кого вы имеете в виду? — слегка опешив, спросила Юико.

— Твою мать, конечно. Кого же еще? Ты же сама сказала: «Пока не окончится траур по матушке!»

— Но позвольте, — протянула Юико с изысканным акцентом, который ей привили в столичном колледже, — моя мать была на бракосочетании и на свадебном торжестве в ресторане и проводила нас до самых дверей спальни. Неужели вы забыли?

— А ведь верно, черт подери! — воскликнул Горо.

— Как вы изволили заметить, моя мать жива и здорова, — заключила Юико.

— Извини,— сказал Горо.— Значит, ты имела в виду мою мать?

— Спокойной вам ночи,— холодно проговорила Юико.

— Спокойной ночи,— пробормотал Горо.— Спасибо тебе.

На мгновение он ощутил чувство благодарности к Юико за то, что она не забыла его покойную мать, но тут же раздраженно подумал: «Все эти штучки с трауром — пережиток, теперь так никто не поступает».

От этой затеи с песочной линией Мажино вокруг брачного ложа на него повеяло вдруг чем-то зловещим.

«Неужели во время траура запрещено спать с законной женой?» — недоумевал Горо. Но поскольку дело касалось интимной жизни, он не решился рассказать об этом не только отцу, но и своим закадычным друзьям.

Однажды, когда Юико пошла проведать родителей, Горо отправился к настоятелю буддийского храма Омацудера, расположенного в трех километрах от Уракасу. Настоятель слыл человеком интеллигентным — в свое время он окончил духовную академию.

— Должен признаться, что ничего подобного я не слышал,— с улыбкой ответил настоятель, выслушав рассказ Горо.— А впрочем, не обращайтесь внимания, пусть пока все будет как есть.

— То есть как это?! — возмутился Горо.

Настоятель принялся загибать пальцы, что-то про себя высчитывая, потом сказал:

— До конца траура по вашей матушке осталось двадцать дней, потерпите. Принято считать, что дух умершего не покидает родной дом семьдесят пять дней, столько же длится и траур.

Горо поблагодарил настоятеля и отправился восвояси.

Если подсчитать точнее, до конца траура оставалось девятнадцать дней, и Горо погрузился в повседневные дела, надеясь, что так время пройдет быстрее.

Юико не привыкла заниматься хозяйством — рис получался у нее недоваренным, на уборку и стирку уходила уйма времени. Двенадцатилетняя сестра Горо раньше всех обратила на это внимание и частенько за глаза ругала золовку.

— Уж если она по дому не управляется, пусть хоть в лавке поработает,— обращалась она то к отцу, то к брату.— Братец, прикажи ей пойти в лавку.

— Молчи, не лезь не в свои дела,— огрызнулся Горо.— Поглядим, каково тебе будет, когда выйдешь замуж. Первое

время наплачешься в чужой семье — верь моему слову. А Юико совсем недавно у нас — еще не привыкла. Поняла, дуреха?

Каждый вечер Юико по-прежнему возводила вокруг своей постели песчаную баррикаду. Она все более замыкалась в себе, подурнела, двигалась медленно, жаловалась на чрезмерную усталость, потеряла сон.

«Должно быть, и ей этот траур в тягость», — думал Горо, тайком поглядывая на календарь: до заветного срока оставалось три дня. И вот был сорван последний листок календаря, наступила семьдесят шестая ночь. Но Юико и на этот раз окружила постель полосой песка. Увидев это, Горо почувствовал себя жестоко обманутым.

«Что ты делаешь? Ведь траур окончился еще вчера!» — хотел было сказать он жене. Но промолчал. В нем заговорила мужская гордость. «А, черт с ней, пусть делает что хочет, но и я буду поступать по-своему», — решил он в сердцах.

В последующие ночи Горо все так же наталкивался на песчаную преграду. И он запил.

Через три дома от их лавочки находилась харчевня «Ёнтэмэ». Она славилась европейской кухней — блюда там готовили намного вкуснее, чем в ресторане «Нэтогава», у пристани. Хозяин харчевни был, по-видимому, неплохим поваром, да и одевался соответственно: белоснежный халат и такой же высокий колпак, напоминавший по форме гриб. Посетителей умело обслуживали две молоденькие официантки в чистеньких передниках. Если кто-нибудь из гостей напиивался и начинал шуметь, выходил сам хозяин, сгребал быяна в охапку и выставлял за дверь. Может быть, поэтому молодежь обходила эту харчевню стороной. Сюда и повадился Горо. Каждый вечер, закрыв свою лавку, он отправлялся в «Ёнтэмэ» заливать горе вином.

Спустя два месяца по истечении траура Юико уехала к родителям в Синодзаки. Сказала, что ненадолго, да так и не вернулась. От нее прибыл посыльный и объявил, что она требует развода: мол, такая супружеская жизнь нарушает традиции их дома.

Горо и его отец буквально онемели от удивления.

— Да как она смеет так говорить! — придя в себя, возмутился отец. — Это мы вправе сказать, что ее поведение противоречит нашим семейным обычаям. Так ей и передайте!

Посыльный обещал передать все в точности и откланялся. Он появлялся еще несколько раз, пока обе семьи не со-

плись на том, что дело о разводе возбудит Горо под предлогом «несоответствия его брака семейным традициям». Развод был официально оформлен, и вещи Юико в тот же день отправили в родительский дом.

Жители Уракасу, особенно друзья Горо, с недоумением восприняли весть о разводе. Прослышав в свое время о женитьбе Горо, друзья позавидовали ему. Они не могли примириться с тем, что Горо, такому же парню, как они, досталась красавица жена со столичным образованием. Теперь зависть уступила место недоумению и любопытству: всем хотелось узнать истинную причину развода.

— Что случилось? — спрашивали Горо наперебой. — Что между вами произошло? Она такая красивая, образованная. Женский колледж окончила. И не где-нибудь, а в самом Токио!

— Ничего не случилось! Поверьте, я не сделал ей ничего плохого. Захотела — и ушла. Найдет себе другого и снова выйдет замуж, — смущенно отвечал Горо.

Но друзья не унимались. Они стали расспрашивать соседей, и вскоре их усилия были вознаграждены. Новость сообщила женщина, носившая на продажу раковины в Синодзакки: из уст-де самой Юико люди узнали, что за сто с лишним дней супружеской жизни Горо не сумел проявить себя как мужчина, поэтому Юико и ушла от него.

Известно, сплетни такого рода распространяются с быстротой пожара, в Уракасу же — и того быстрее. Вскоре они стали достоянием даже мальчишек и девчонок, и эти не по годам развитые озорники, проходя мимо лавки Горо, хором выкрикивали:

— У «Мисоно» флаг не поднимается!

Дело в том, что над каждой лавкой в Уракасу вывешивали флаг, и только над лавкой Горо такого флага не было. Поэтому ребята со спокойной совестью отмечали этот факт, и никто не смог бы уличить их в том, что в этой фразе заключен довольно прозрачный намек на интимные обстоятельства. Горо, по-видимому, не сознавал, о чем идет речь. Отец же сразу понял намек, рассвирепел и устроил сыну настоящий допрос. Горо настолько растерялся, что не мог произнести ни слова. От незаслуженной обиды у него даже слезы на глазах выступили. Наконец он пришел в себя и, заикаясь от стыда, рассказал отцу про песчаную баррикаду.

— Тебе, видно, помощник был нужен: сам с женой не смог справиться! Не трехметровую же баррикаду она сооруди-

дила? Взял бы да и раскидал этот дурацкий песок. Эх ты! — рассердился отец.

— Поглядели бы сами, как она песок вокруг постели рассыпала, тогда бы не говорили гак,— оправдывался Горо.— Ну прямо будто страшное заклинание творила!

Отец попытался представить себе, как все это происходило, но никакого страха при этом не ощутил.

— Подумаешь, песок! — сказал он.— Струсил ты, так и скажи! Да знаешь ли ты, почему Юико продолжала свою затею после того, как кончился траур? Ждала, что ты поступишь как мужчина: раскидаешь песок и ляжешь с ней в постель. Эх ты, недотепа,— до такой простой вещи не мог додуматься!

И отец стал срочно искать для Горо невесту. Он понимал, что, только снова женив сына, он сумеет восстановить его поруганную честь и репутацию своей лавки, что тоже немало важно.

Но сплетня уже успела распространиться по всей округе, и никто не соглашался отдать дочь за парня, у которого «не поднимается флаг». А тем временем друзья Горо потребовали от него доказательств того, что он настоящий мужчина, и привели его в один из увеселительных домов в Токио. Развлекались, разумеется, за счет Горо и оставили его наедине с довольно опытной девицей. А потом с пристрастием допросили ее.

— Да может ли такое быть! — говорил один из них по возвращении в Уракасу.— Всего за два часа трижды взвился флаг, и это у новичка!

— Горо просто подкупил девицу,— решили они, выслушав ее.

Я сам слышал разговор, который происходил между тремя молодыми людьми в ресторане «Уракасу». «Теперь пустят новую сплетню», — подумал я, сочувствуя Горо.

И верно: слух о том, что Горо подкупил девицу, распространился по городу с быстротой молнии. Можно себе представить, что чувствовал Горо, на которого обрушилась двойная клевета. Но справедливость все же восторжествовала.

Спаситель явился к Горо в лице его старшей сестры. Получив письмо от отца, она примчалась в Уракасу с далекого Хоккайдо — и не одна! Она привезла с собой девушку. Девушка была небольшого роста, плотная, пышущая здоровьем, на два года моложе Юико и более симпатичная.

Вскоре Горо женился. Брачная церемония и свадебное

торжество прошли столь же пышно, как и в первый раз. Не был забыт и начальник пожарной команды Ванихиса. Он основательно нагружился и все просил у Горо прощения за свое поведение во время прежней свадьбы.

Горо повел себя теперь более осмотрительно. Через два дня после свадьбы он пригласил домой друзей и угостил их отличным обедом, приготовленным молодой женой. Мало того, через неделю он потчевал их пивом, бифштексами и салатом с курицей в харчевне «Ёнтёмэ». А когда все порядком набрались, Горо многозначительно сообщил:

— Я, знаете, в первый раз увидел... ну прямо как треснувший гранат...

Друзья на мгновение задумались и, как по команде, пронзительно захохотали, стуча кулаками по столу.

Вскоре после женитьбы Горо вышла замуж и Юико и уехала к мужу в Токио. А спустя год, когда жена Горо родила девочку, Юико вернулась в родительский дом, то ли на время, то ли потому, что опять развелась,— никто точно не знает...

Для своих пятнадцати лет Кацуко была слишком низкоросла и худощава, с плоской грудью и совершенно неразвитыми бедрами, темной, огрубевшей кожей на руках и лодыжках, обильно поросшей волосами. Ее непривлекательный облик заставлял забыть о свойственной этому возрасту девичьей свежести. Она производила впечатление вдоволь хлебнувшей горя пожилой женщины.

Кацуко с младенчества воспитывалась в семье своей тетки Отанэ. Мать ее вскоре после рождения девочки вышла замуж за владельца торговой фирмы, родила ему троих детей и, по слухам, жила вполне зажиточно. Она регулярно присылала деньги на воспитание Кацуко и изредка приезжала ее проведать.

Муж Отанэ, Ватанака Кёта, преподавал когда-то в средней школе, но давно бросил работу и теперь бездельничал, беспробудно пьянствовал, пропивая не только деньги, присылаемые Канаэ, матерью Кацуко, но и все то, что зарабатывали надомной работой жена и девочка.

Кёта любил при случае блеснуть своей эрудицией и имел привычку научно комментировать любое явление.

— Мой алкоголизм имеет генетическую основу,— говорил он.

Или:

— Раз эта рыба разрезана на куски и пожарена, ее следует рассматривать не с точки зрения зоологии, а как предмет диететики.

Кёта очень гордился своей внешностью и утверждал, что его профиль — точная копия профиля Джона Барримора<sup>1</sup>. Подвыпив, он начинал позировать, заставляя жену и Кацуку внимательно разглядывать его профиль.

— Погляди на мой нос,— обращался он к случайному со-

---

<sup>1</sup> Джон Барримор (1882—1942) — американский актер.

бутыльнику.— Его нельзя рассматривать как предмет анатомии или френологии. Это объект эстетического исследования.

Однажды давнишний его друг Сима решил тонко сострить и сказал:

— Для твоего носа надо создать специальную науку: носологию!

Человек, который гордится своей внешностью, не выносит, когда отпускают шуточки на этот счет. И хотя Сима несколько не намеревался уязвить Кёту, последний с той поры перестал с ним встречаться и распивать бутылочку.

— Ну и противная же погода,— посетовала однажды Отанэ,— кажется, будто все нутро от этих дождей заплесневело.

Сезон дождей в тот год действительно затянулся, и даже циновки в доме покрылись грязно-зеленым налетом. Дни тянулись за днями, Отанэ и Кацуко занимались надомной работой — клеили искусственные цветы, а Кёта с утра пил холодное саке.

Услышав жалобу Отанэ, Кёта востропнул и с серьезным видом спросил:

— Ты вот говоришь о погоде, а с какой точки зрения: с метеорологической или с астрономической?

Невдалеке от дома, где жил Кёта, стояла старая развалюха. Ее давно не ремонтировали, и она настолько покосилась, что, казалось, вот-вот завалится. Чтобы этого не случилось, развалюху подперли тремя бревнышками из криптомерии. Но когда налетел ураган, жители этого дома поспешно убрали подпорки. Любой человек со стороны, глядя на их действия, невольно подумал бы: «С ума они походили, что ли?» И был бы, здраво рассуждая, прав: раз идет буря — надо укреплять дом, а не убирать подпорки. Но жильцы на собственном опыте убедились, что для их дома это не годится. Они говорили: если оставить подпорки, буря, встретив на своем пути сопротивление, разнесет дом в щепки. Единственный способ его сохранить — убрать подпорки и положиться на волю ветра: ветер будет свободно раскачивать дом из стороны в сторону и он уцелеет.

Услышав столь необычную версию, Кёта сказал:

— Такое с точки зрения архитектуры объяснить невозможно. Скорее, это проблема из области науки о сопротивлении материалов.

Отанэ никогда не перечила мужу, и не потому, что была

на год старше — ей исполнилось пятьдесят семь. Оба они достигли того возраста, когда разница в один год не имела значения. Самого Кёту интересовало только вино, но он никогда не пил в харчевнях, где были женщины.

— Бабий дух портит вкус сакэ, — любил повторять Кёта.

Учительская практика наложила отпечаток на поведение Кёты: он никогда не ругал жену и Кацуко бранными словами и, уж конечно, не кидался на них с кулаками. Отанэ слушалась мужа, но не потому, что он заставлял ее подчиняться. Просто такой уж она была от рождения. Она никогда не жаловалась и не упрекала Кёту за безделье, хотя ей приходилось работать не покладая рук, чтобы кое-как сводить концы с концами.

— Есть сколько угодно семей, где родители, чтобы не умереть от голода, вместе с детьми кончают жизнь самоубийством, — нередко внушала Отанэ племяннице. — Как представишь себя на их месте, просто оторопь берет. Считай, что нам еще везет.

Кацуко молча слушала, иногда тихонько вздыхала или, прекратив на минуту работу, замирала, уставившись в старую циновку.

Трудно было представить человека, работавшего так же прилежно, как Кацуко, и столь же безответного.

Казалось бы, Отанэ должна питать к Кацуко настоящую материнскую любовь — ведь это была ее родная племянница, к тому же взяла она ее совсем еще малюткой. Но дело обстояло далеко не так. Четыре года назад поселилось здесь семейство Ватанаки, и соседские женщины вскоре поняли, что Кацуко им не родная. В ту пору Кацуко было одиннадцать лет, но уже тогда никто не видел, чтобы девочка хоть минуту сидела сложа руки. Она все время работала, за исключением лишь тех часов, которые она проводила в школе. В ее поведении не было детской непосредственности. Она вела себя как взрослая и работала с такой быстротой, словно ее погоняли плеткой.

— Что за странный ребенок? — удивлялись соседки. — О чем ее ни спросишь, уставится на тебя своими глазищами — и ни слова в ответ. Глухонемая она, что ли?

— Должно быть, слишком жестоко обращались с ней в детстве — вот она и стала такой пугливой. Всех боится, никому не верит.

Между Отанэ и Кацуко не было ни любви, ни близости. Это становилось ясно каждому, кто случайно соприкасался с семьей Ватанаки.

Отанэ с покорностью принимала все, что происходило вокруг, никогда ни в чем не решалась идти наперекор, подобно тому как священник боится поступить вопреки воле божьей. Кацуко дичилась ее — она и это воспринимала как должное. Кацуко была настолько молчалива, что и в самом деле казалась немой. Когда Отанэ с ней заговаривала, она молча ее выслушивала, но сама в разговор не вступала, и Отанэ не упрекала ее за это.

Кёту же покорность жены выводила из себя.

— Ты не живое существо! — возмущался он. — К тебе нельзя подходить с антропологическими или даже с зоологическими мерками. Ты скорее явление из области ботаники.

Только однажды Отанэ позволила себе оспорить мнение мужа. Когда Кацуко окончила начальную школу, Кёта решил, что ей незачем учиться дальше. Отанэ же считала, что ей надо окончить хотя бы среднюю школу, тем более что деньги на содержание девочки мать присылает.

— Сколько она присылает — курам на смех! — расвирепел Кёта. — Навязали на наши головы убудка, а денег дают — кот наплакал. Да на них не выпьешь толком. И мы же обязаны еще учить ее!

— Все это так, но ведь сейчас для всех введено обязательное среднее образование, — пыталась возразить Отанэ.

— Хорошо, — вдруг согласился Кёта после нескольких чарок. — Давай сделаем так: ты сообщи Канаэ, что, мол, для занятий в средней школе потребуются новые расходы, пусть она присылает вдвое больше на содержание дочери. Если согласится, я, может быть, еще подумаю.

По-видимому, Отанэ сообщила сестре о решении Кёты, так как вскоре на нашей улице впервые появилась госпожа Канаэ, родная мать Кацуко.

Канаэ была моложе Отанэ лет на десять. Значит, в то время ей было уже сорок шесть, а то и сорок семь. На вид же ей нельзя было дать больше тридцати пяти. В ярком кимоно, с красиво уложенными волосами, напудренная и покрашенная, она казалась только что вышедшей из косметического кабинета. Появление Канаэ буквально ошеломило жителей нашей улицы. Она проходила сквозь толпу детей и женщин,

выбежавших посмотреть на нее. Их глаза, полные любопытства, восхищения и зависти, неотступно провожали Канаэ, пока она не скрылась в доме сестры.

— Вы только понюхайте,— говорила на следующий день одна из местных женщин.— Там, где она прошла, до сих пор пахнет духами.

Когда Канаэ вошла в дом, Кёта, как обычно, пил в одиночестве. Он поспешно вскочил, пригласил Канаэ к столу и приказал жене и Кацуко немедленно приготовить еду.

— Сестрица,— обратилась Канаэ к Отанэ.— Это и есть моя дочь? — И, оглядев девочку с головы до ног, уставилась в ее лицо.

Кацуко покраснела и отвернулась. Канаэ покачала головой и вздохнула:

— Лицо как раздавленная котлета. Ну и уродина!

Кацуко безразлично взглянула на мать и молча вышла из комнаты. Вместе с Отанэ она сходила за провизией, потом помогала ей жарить рыбу и варить рис. В выпивке недостатка не было: саке регулярно доставляли на дом из винной лавки. Кёта пил много и за саке всегда расплачивался в срок, поэтому виноторговец отпускал ему в кредит — ценил постоянного покупателя. Подгоняемые нетерпеливыми окриками Кёты, Отанэ и Кацуко быстро приготовили закуску. За стол сели только Кёта и Канаэ.

— Ой, неужели ты пьешь? — удивилась Отанэ, глядя, как сестрица лихо опрокинула чашечку саке.

— Это мой муженек виноват, его выучка. В один присест выпивает бутылку виски. Гости у нас в доме не переводятся, а если сам отправляется с визитом — никогда не забывает женушку. В нашем обществе считается неприличным, если хозяйка, принимая гостей, сама не пьет.

— Вот это жизнь! — воскликнул Кёта.— При ваших средствах вам не составит труда и в женский колледж дочку отправить.

— Не говорите глупости, Кёта! — сказала Канаэ, шаловливо ударяя его по плечу.— Чем больше предприятие, тем меньше наличных денег у его хозяина. Вам этого не понять. Мне даже за мелкие покупки приходится не деньгами, а чеками расплачиваться.

— И все же девочку надо бы хоть в среднюю школу отправить,— вступила в разговор Отанэ.

— Альпарей<sup>2</sup>, ничего не выйдет! — замахала руками

---

<sup>2</sup> У аппарата, слушаю (*фр.*).

Канаэ.— Слыханное ли дело: такую уродину отдавать в среднюю школу. Хватит с нее и начальной. И не напоминай мне больше об этом,— добавила она, протягивая Кёте пустую чашечку.

Слова «общество», «прием гостей» и тому подобные никак не вязались со стилем речи Канаэ и ее поведением за столом. Вино она выпивала залпом, закуску хватала со всех блюд подряд, жареную рыбу обсасывала до костей, запускала в рот пальцы, вытаскивала застрявшие в зубах мелкие косточки и бросала их прямо на лакированный столик. Опьянев, она стала распевать скабрёзные песенки, то и дело похлопывая Кёту по плечу, громко хохотала, широко раскрывая рот.

Когда вторая двухлитровая бутылка сакэ была наполовину опорожнена и вся закуска съедена, Канаэ, громко рыгнув, стала собираться восвояси.

— Прекрасно провела время. Вы — человек образованный и так все интересно рассказываете,— прощаясь, сказала Канаэ.— А когда пьешь с невежей, не испытываешь никакого удовольствия. Альпарей, да и только. Спасибо за угощение.

— Верно, прямо в точку попали,— пробормотал Кёта.— Такие типы и есть альпарей.

Отанэ проводила сестру до пересекавшей пустырь сточной канавы.

— Послушай, Канаэ,— прощаясь, сказала Отанэ,— нехорошо смеяться над внешностью девочки. Ведь она в этом не виновата.

— А-а, ты про уродину?

— Не надо так говорить! Тебе-то хорошо — ты красивая.

— Ну что ты? Так ли уж я красива? — приосанившись, жеманно произнесла Канаэ.— Правда, мой муженек влюблен в меня до сих пор. Ну, пока.

С той поры жители нашей улицы, в особенности дети, стали называть Кацуко не иначе как уродинкой. Кацуко так и не отправили в среднюю школу, и она по-прежнему целыми днями была занята работой. А когда выпадала свободная минута, подметала дом и улицу перед домом, а то и перед соседними домами, собирала обрывки бумаги, вырывала сорняки. Раз в месяц Кацуко чистила даже сточную канаву — от этого все отлынивали.

— Просто удивительно, совсем еще девочка, а такая работающая. Ни минуты не сидит сложа руки,— судачили соседки.— Была бы только чуть-чуть поприветливей.

Раз или два в год появлялась Канаэ в нарядном кимоно,

обзывала дочь уродиной, напивалась с Кёта сакэ и говорила непристойности.

Супруг Канаэ, по-видимому, был крупным предпринимателем. Однако Канаэ никогда не рассказывала, чем конкретно он занимался, не распространялась и о подробностях их семейной жизни. Если же она упоминала торговую фирму супруга или рассказывала, что к каждому из ее детей ходят на дом по два учителя, то делала это исключительно для того, чтобы похвастаться, выставить себя напоказ. При случае она любила щегольнуть иностранными словами, употребляя их совсем не к месту, часто не понимая даже их смысла.

О детстве Отанэ и Канаэ, об их родителях и родственниках ничего не было известно, как, впрочем, и о прошлом других жителей нашей улицы. Здесь интересовались только настоящим, а если и случалось, что заговаривали о прошлом, то рассказы эти, как правило, были на девяносто процентов приукрашены вымыслом.

Вполне сознавая надуманность своего повествования, рассказчик тем не менее так проникался тем, о чем говорил, что даже плакал, если рассказ его был печальным. Да и слушатели нередко бывали тронуты до глубины души, хотя тоже прекрасно понимали, что потрясшая их история — чистый вымысел. Когда рассказчик начинал тешить свое тщеславие, они сердились на него, хотя и знали, что он все выдумал. А уж если же он начинал похвастаться тем, что в свое время был, к примеру, крупным богачом, или кичился своим нынешним процветанием, ему и вовсе не было пощады.

Канаэ появлялась шикарно одетая, распространяя вокруг одуряющий запах духов. Она не обращала ни малейшего внимания на глазевших на нее любопытных и, уж конечно, ни с кем не здоровалась. И тем не менее ее не порицали. Даже известные своим злоязычием здешние хозяйки, провожая Канаэ любопытными взглядами, испытывали к ней лишь чисто женскую зависть.

Однажды на нашу улицу прибыли важные дамы, осознавшие вдруг свое высокое призвание служить обществу. Они бесплатно раздавали старую одежду, сладости, порошковое молоко и кое-какие лекарства. Здешний люд несказанно обрадовался. На нежданное богатство накиннулись, как голодные звери на добычу. Ошеломленные дамы не успели и рта раскрыть, как к ним подступила толпа с криками:

— И это все?! Чего ж так мало приволокли?! Натаскали всякого дерьма, да еще нос задирают, будто подвиг какой совершили! Катитесь отсюда, пока целы!

Подгоняемые градом камней, который обрушили на них ребятишки, дамы поспешили обратиться восвояси.

И что удивительно, эти же самые люди питали к Канаэ, которая была воплощением спесивости и высокомерия, не вражду, не злобу, а уважение.

— Благотворительницам наподдали потому, что они унизили достоинство здешних людей, откровенно намекнув на их бедность, — пояснил принявший христианство Сайта. — Эти важные дамы решили потешить подачками свое тщеславие и искупить свои прегрешения. Бедняки очень чувствительны к этому. Вот они и разозлились. А ведь в Библии сказано: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая».

— Чего тут понимать? — вступил в разговор старый Танба. — Нет у нас вражды к госпоже Канаэ, потому что чувствуем: она одного с нами племени.

— А над Кацуко здешний люд насмехается, прямо в глаза уродиной называют, — продолжал Танба. — Оправдываются тем, что, мол, без злого умысла. Да ведь это как сказать. Ненавидят ее — потому и дразнят. А за что ненавидят? За то, что в этой Кацуко воплощена вся их горькая жизнь: работаешь-работаешь, а не воздается.

Зимой, когда Кацуко исполнилось пятнадцать лет, Отанэ положили на три недели в больницу: нужна была срочная операция. Расходы взяла на себя Канаэ, но предупредила, что эта сумма будет вычтена из денег, которые она высылает на содержание дочери. Последнее особенно возмутило Кёту, поскольку ударило по его карману.

— Слышь, Кацуко, — говорил он, рыгая, отчего комната наполнялась запахом винного перегара. — Твоя тетка, которая заботится о тебе больше родной матери, больна. Не исключено, что смертельно больна. Понимаешь?

Кацуко продолжала молча работать.

— В доказательство того, что ты помнишь о ее заботах, ты должна работать вдвое больше. Ты ведь понимаешь, о ком сейчас больше всего беспокоится твоя тетка, о ком у нее болит сердце! — И Кёта внимательно глядел на Кацуку, пытаясь убедиться, что до нее дошел смысл сказанного.

Выражение лица Кацуко не изменилось, только руки стали работать еще быстрее.

— Эх, была бы ты лицом посмазливей да телом покрепче, можно было бы найти для тебя прибыльную работу. А так, кроме надомной работенки, ничего не сыщешь. Ты уж работай как следует, чтобы свою и теткину долю выполнить. Поняла?

Кацуко молча кивнула головой.

Три недели она работала так, словно хотела узнать пределы своих физических возможностей. Надомная работа не бывает постоянной. Случается, подваливает столько, что и рук не хватает, а потом дней десять, а то и больше — никаких заказов. Этого Кацуко боялась больше всего. Она твердо усвоила, что работу надо выполнять быстрее и лучше других, чтобы все говорили: «На эту девочку можно положиться». Мысль о заказах не давала ей покоя ни днем, ни ночью.

Кёта, не в пример другим пьяницам, регулярно ел три раза в день. Даже если он пил где-то, то обязательно шел обедать домой и всякий раз требовал, чтобы ему подавали рыбу, мясо и непременно мисосиру.

— Что это за скумбрия? Погляди на шкурку, — ворчал Кёта, брезгливо тыча палочками для еды в рыбу. — У свежей рыбы шкурка плотно прилегает, а у этой клочьями висит! А мясо! Сколько раз тебе говорил: не покупай мелко нарезанное. От него такой запах, будто оно у лоточника куплено. Это вопрос не столько кулинарии, сколько диететики.

Кацуко молчала и делала все возможное, на что была способна в свои пятнадцать лет. Но у нее не хватало ни денег, ни житейской мудрости, чтобы покупать свежую рыбу и не нарезанное мясо. Да и не было времени угождать привередливому Кёте. Кацуко работала до полного изнеможения, спать ей приходилось не больше трех часов в сутки.

Как-то Кёта проснулся далеко за полночь. Вышел по нужде, а когда возвращался в спальню, невольно обратил внимание на мерно посапывавшую Кацуку.

Кацуко лежала на спине, широко раскинув ноги. Поза была необычной. Она всегда спала, свернувшись калачиком, не меняя позы до самого утра. Кёта наклонился над девочкой, чтобы поправить сползшее одеяло. Слабо развитое тело Кацуко не таило в себе девичьей прелести. Но в тот момент — может, в этом был повинен лунный свет, проникавший сквозь щель в двери, — обнаженное бедро Кацуко показалось Кёте округлым и чертовски привлекательным.

Кацуко открыла глаза и недвижными зрачками уставилась на Кёту, будто и не спала вовсе.

— Закрой глаза,— хриплым голосом произнес Кёта.— Закрой глаза и лежи тихо. Ничего плохого я тебе не сделаю.

Но Кацуко продолжала молча глядеть на него. Тогда Кёта сам закрыл глаза, но и сквозь веки он продолжал видеть ее расширившиеся зрачки.

— Закрой глазщи! — визгливо закричал он.

На лице Кацуко появилось подобие улыбки. А может быть, она насмеялась над ним? Кёта затрясся, словно в ознобе, и поспешно зажмурился...

На следующий день, потягивая сакэ в соседней харчевне, он говорил хозяину:

— Знаешь, старина! Все бабы одинаковые — что в пятнадцать лет, что в тридцать. А некоторые в тридцать, а то и в тридцать пять наивнее, чем пятнадцатилетние. Бывает, девочка еще, а глядит на мужчину такими глазницами — как взрослая. Прямо сатана, да и только! Баба, скажу я тебе, старина, это предмет не антропологического ряда, а скорее объект естествознания, а то и монстрологии — наука такая о чудовищах.

Когда Отанэ вернулась из больницы, хлопот у Кацуко прибавилось. Девочке приходилось теперь еще и ухаживать за больной, отдельно готовить для нее, ходить за лекарствами и выполнять массу других мелких дел.

— Мне так повезло, так повезло,— словно опьяненная своим везением, повторяла Отанэ, лениво потягиваясь на постели.— Когда меня положили на операционный стол, я подумала: суждено умереть — умру, зато не надо будет больше работать из последних сил. Но все прошло удачно, а теперь вот бездельничаю. Скажу тебе откровенно: с тех пор как я себя помню, впервые мне такое счастье привалило.

Отанэ не пришло в голову поблагодарить Кацуку за труд и заботу, но девочка и не ждала от тетки слов благодарности. Измученная, она засыпала порой прямо за работой, и Отанэ всякий раз безжалостно будила ее. Кацуку ни разу не пожаловалась на усталость, ни словом не выразила свое недовольство. Только соседи заметили, что девочка очень похудела и осунулась.

Время шло, и Отанэ окончательно выздоровела. Как-то раз, получив за работу деньги и решив как следует помыть-

ся, она отправилась вместе с Кацуко в бани Кусацу. Когда она увидела племянницу раздетой, она буквально оторопела. На исхудавшем теле девочки резко выделялись набухшие груди с почерневшими сосками и выпуклый живот.

Отанэ стала более пристально наблюдать за Кацуко и заметила, что по утрам ее нередко тошнит, что иногда она полдня в рот ничего не берет, а то съедает по две порции кряду.

И, ничего не говоря Кацуко, Отанэ отправилась с ней в больницу Ниёси. Больница помещалась в стареньком здании, да и врачи были неопытные, но среди местных жителей она пользовалась популярностью, поскольку плата за осмотр и лечение была невелика.

Врач быстро осмотрел Кацуко и, выпроводив ее в коридор, четко сформулировал диагноз: беременность на исходе второго месяца, опасных отклонений не наблюдается.

Отанэ намекнула насчет аборта. Врач спокойно ответил, что не исключает такую возможность, поскольку девушка еще не достигла совершеннолетия, но на это нужно согласие родителей и... определенная сумма денег. Отанэ скромно поинтересовалась суммой, и врач скромно назвал цифру.

Выйдя от врача, Отанэ резко рванула Кацуко за руку.

— Кто он? Скажи, кто тебе заделал ребенка? Дело это твое, но все же скажи правду: кто он?

Поняв наконец, что она беременна, Кацуко сжалась в комок, рот ее приоткрылся, дыхание перехватило.

— Послушай, Кацуко, какой тебе смысл скрывать его имя? — настаивала Отанэ.

Кацуко молчала. Может быть, она даже не слышала того, что говорила Отанэ. Она машинально следовала за теткой, бессмысленно уставившись в одну точку.

Отанэ подозревала, кто был виновником случившегося. По срокам выходило, что все произошло как раз во время ее пребывания в больнице и, конечно, дома — ведь Кацуко работала не зная отдыха и нигде не отлучалась. Отанэ смущало только, что Кёта вот уже более пяти лет не касался ее, да и вообще всячески избегал женщин. По-видимому, это было следствие слишком бурно прожитой жизни. «Пьянице женщина ни к чему», — чванливо заявлял он и не нарушал своего правила. Неужто Кёта мог польститься на Кацуко, которую даже родная мать называет уродиной? Впрочем, Отанэ не придавала случившемуся большого значения, не испытывала ни досады, ни ревности. Но надо было решать: дать возможность появиться ребенку на свет или уничтожить его.

Деньги, конечно, придется просить у Канаэ — другого выхода нет. И Отанэ решила прежде всего поговорить с мужем.

Вечером, отправив Кацуко в харчевню за едой, Отанэ рассказала обо всем Кёте.

Кёта не на шутку перепугался. От страха он готов был выпрыгнуть из собственной шкуры. Однако, заметив, что в поведении Отанэ нет ничего драматического, что она совершенно спокойна и намерена выяснить только одно: оставлять ребенка или нет, Кёта поспешил юркнуть обратно в покинутую им было шкуру.

— Надеюсь,— с дрожью в голосе сказал он,— надеюсь, ты не думаешь, что это я сделал ей ребенка.

— Я всего лишь спрашиваю у тебя совета.

— Да, да. Прежде всего надо решить, как поступить. А поиски виновника можно и отложить. Хочу только тебя предупредить с самого начала: я здесь ни при чем. Шутка ли! Ведь я для нее не просто дядя, я как отец родной, так и в книге посемейных записей отмечено, да разве я бы осмелился на такое...

— Так что же все-таки? Пусть рождает? — прервала его Отанэ.

— Где уж ей рожать! Слишком молода, да и что люди скажут? В этом случае разумней подходить с позиций не морали, а уголовной медицины, нет, что я говорю, с позиций судебной медицины.

— Можешь ты наконец сказать что-нибудь вразумительное? Оставлять ребенка или нет?

— Что с тобой поделаешь! Ты ведь понимаешь только язык газетных происшествий. Конечно, нет!

Затем Отанэ заговорила об оплате врача. Придется вновь обращаться к Канаэ, но надо привести такие доводы, чтобы Канаэ не отказала, ведь недавно у нее уже просили деньги на оплату операции самой Отанэ.

Послышался стук в дверь. Супруги прекратили разговор, и Отанэ пошла отворять. У порога стоял полицейский.

— Здесь проживает Ватанака Кацуко? — спросил он.

Отанэ утвердительно кивнула.

— Прошу вас немедленно следовать за мной к лавке Исэماسа. Совершенно преступление.

— Что-нибудь с Кацуко?

— Ранили человека. Не исключено, что рана смертельна. Возможно, пострадавший погибнет — ждем медицинского заключения. Попрошу вас следовать за мной.

В дверях появился Кёта.

Он вежливо поклонился и обратился к жене:

— Я слышал, что-то случилось с Кацуко. Пойди за ней скорее. Иди в чем есть — не трать время на переодевание.

Глядя на Кёту, полицейский спросил, не он ли является отцом Кацуко. Проведя тыльной стороной ладони по лбу, как это делают тестомесы, когда вытирают пот, Кёта поспешно ответил, что Кацуко приходится племянницей его жене, и, стараясь переменить тему, поинтересовался, насколько пострадала девочка.

— Поймите наконец, ваша Кацуко не потерпевшая, она сама совершила преступление, — раздраженно возразил полицейский. — Украла в рыбной лавке кухонный нож и пырнула им Окабэ, рассыльного из винной лавки Исэмаса. Мальчик в очень тяжелом состоянии.

У Отанэ даже челюсть отвисла. Не говоря ни слова, она во все глаза смотрела на полицейского.

Кёта пытался осмыслить ситуацию, но никак не мог уловить суть происшедшего и, не зная, какой позиции ему придерживаться, стоял с таким выражением лица, будто хотел сказать: вы, мол, поступайте как знаете, а моя хата с краю.

— Поторапливайтесь, — напомнил полицейский. — Я должен доставить вас к месту преступления и сразу же возвратиться в участок.

Отанэ сняла висевшее у нее на шее полотенце и передала его Кёте. Потом пошла в прихожую и сунула ноги в гэта. Ошеломление первых минут прошло, и теперь на лице ее не было и следа растерянности.

В лавке Исэмаса толпились полицейские и какие-то люди в штатском, видимо тоже имевшие отношение к полиции. Кацуко уже отвели в полицейский участок, а пострадавшего Окабэ отправили в ближайшую больницу Кусада. Полицейский, сопровождавший Отанэ, передал ее человеку в штатском, который назвался Хориути. Он кратко записал показания Отанэ и пригласил ее в полицейское управление.

— Мне хотелось бы сначала навестить Окабэ, — попросила Отанэ. — Свидание с Кацуко можно и отложить. Меня очень беспокоит состояние мальчика.

Хориути посоветовался с усатым человеком в штатском и сказал, что возражений нет.

Перед винной лавкой собралась толпа — одни о чем-то шептались, другие, указывая пальцем на Отанэ, достаточно громко отпускали нелестные замечания в ее адрес. Но Отанэ

шла, ничего не видя перед собой и не прислушиваясь к их словам.

В больнице Отанэ и Хориути встретил полицейский. Он выслушал просьбу Отанэ и пошел посоветоваться с доктором. Вскоре он вернулся и сообщил, что во встрече ей отказано.

— Сейчас мальчик без сознания, ему делают переливание крови, — сказал полицейский. — Когда придет в себя, обязательно передам о вашем посещении. А пока следуйте в полицейское управление.

— Как он себя чувствует? Действительно ли рана опасна для жизни?

— Трудно сказать что-либо определенное, — ответил полицейский. — Пострадавший потерял много крови. Он все время звал Кацуко, пока не потерял сознание. Ничего больше сказать вам не могу. Повторяю, вы должны немедленно следовать в управление. Не надо забывать, что вы родственница преступницы.

Отанэ вернулась домой лишь после восьми вечера. В нос ударил резкий запах самогона.

— Ну как там? Что с Кацуко? Действительно ли она пырнула ножом этого сопляка из винной лавки? — заплетающимся языком спросил Кёта.

— погоди, сейчас расскажу все по порядку, — ответила Отанэ, проходя в кухню. Она вымыла руки и начала готовить ужин.

— Я все думал, думал и решил: если Кацуко в самом деле пырнула этого мальчишку — причина одна: именно он заделал ей ребенка. Ты, полагаю, того же мнения.

Пока Отанэ ужинала, Кёта продолжал свою бессмысленную болтовню. Но Отанэ не покидало ощущение, будто за дымовой завесой слов он пытается скрыть от нее что-то важное.

— До чего же ты бесчувственная! — возмутился Кёта. — Родную племянницу забрали в полицию как преступницу, а ты ешь себе преспокойно. Поистине женщина — существо не психологического, а, скорее, физиологического склада.

Отанэ продолжала есть, не обращая внимания на колкости Кёты. Своим видом и поведением она давала понять: ничего особенного не произошло, время позднее, и она проголодалась, поэтому сначала поест, а потом расскажет все по порядку.

— Кацуко молчит,— заговорила Отанэ, принимаясь за работу.— Полицейскому, который ее допрашивал, она призналась лишь в том, что стащила кухонный нож в рыбной лавке и пырнула этим ножом Окабэ. Сколько полицейский ни пытался выяснить причины, толкнувшие ее на преступление, Кацуко больше не сказала ни слова. Я тоже пробовала расспросить Кацуко, узнать, не обидел ли ее кто-нибудь, убеждала ее не упорствовать, ведь ей всего пятнадцать лет и приговор не будет очень жестоким, но она молчала.

— Дело ясное,— перебил ее Кёта.— Этот парень обрюхатил девчонку — вот ей и стыдно признаться. Было бы что другое, она сразу бы рассказала.

Отанэ молча слушала мужа, чересчур горячо настаивавшего на своей версии.

— Учти, если будут вызывать в полицию, меня это дело не касается. Кацуко не моя племянница, а твоя,— заключил Кёта и отвернулся.

Допрос Кацуко пока не давал результатов. Все попытки выяснить причину преступления ни к чему не приводили.

— Противная девчонка,— пожаловался допрашивавший Кацуко полицейский инспектор.— Молчит, словно воды в рот набрала. А то вдруг начинает скалить зубы — вроде бы смеется. А присмотришься — нет, не смеется. Бывает, раздражишь обезьяну, а она в ответ зубы скалит — злится. А здесь не поймешь — то ли смеется, то ли злится. Глянешь на этот оскал — и оторопь берет. До чего же неприятная девица!

Окабэ, к счастью, остался жив. Лезвие ножа прошло совсем рядом с сердцем, но не задело его, и теперь дело пошло на поправку.

— Не могу понять, почему Кацуко так поступила,— говорил он Отанэ.— Она мне нравилась. Я жалел ее, угощал пирожками, и иногда мы вместе ходили поклониться Мёкэнсама<sup>3</sup>.

Окабэ и в самом деле часто защищал Кацуку от обидчиков, ему не нравилось, когда ее обзывали уродиной. Кацуку, видно, тоже нравился Окабэ. Когда он угощал ее пирожками, она радостно улыбалась и всегда с удовольствием принимала его приглашение пойти к Мёкэнсама, а по дороге даже разговаривала с ним.

— Наверное, Кацуку ранила меня по ошибке, иначе и

---

<sup>3</sup> Мёкэнсама — бодисатва Полярной звезды, охраняет страну от бедствий.

быть не может,— рассуждал Окабэ.— Я не сержусь и готов сделать все, чтобы снять с нее вину. А раз я не считаю Кацуку виновной, значит, ее не за что и наказывать. Не правда ли?

Когда Отанэ передала Кёте свой разговор с мальчиком, тот воскликнул:

— Так я и думал! Чувствует, прохвост, что нашкодил, вот и оправдывается. Где это видано, чтобы человек, которого без всякой причины чуть не убили, стал бы так говорить: не за что, мол, наказывать! Да ведь тем самым он прямо-таки признает свою вину. Каков наглец, а ведь соплик еще!

Надомная работа почти не оставляла Отанэ свободного времени. Все же она успевала побывать и в лавке Исэмаса, и в полиции, и в больнице.

Отанэ отправила письмо Канаэ, в котором в общих чертах описала ситуацию и попросила денег на лечение Окабэ. Отанэ пыталась также добиться у полицейского инспектора разрешения забрать Кацуку домой, но пока ее попытки не увенчались успехом — упорное молчание девочки производило в полиции неблагоприятное впечатление.

Однажды, в который раз вернувшись ни с чем из полиции, Отанэ сообщила Кёте, что человек, вступивший в связь с девушкой, не достигшей совершеннолетия, может быть обвинен в изнасиловании. Так ей сказал полицейский инспектор.

— Это верно,— пробормотал Кёта, позевывая.— И если мы, родители Кацуку, как это записано в книге посемейных записей, подадим на этого парня в суд, его, само собой, обвинят в изнасиловании.

— Инспектор велел тебе явиться в полицию,— медленно произнесла Отанэ, приступая к своей обычной работе.— Он сказал, что за неявку тебе грозит наказание.

— Меня? В полицию?! С какой стати? — возмутился Кёта, подозрительно вглядываясь в лицо Отанэ.

— Кацуку о чем-то рассказала полицейскому инспектору.

— А при чем тут я?

— Не знаю,— ответила Отанэ, не прерывая работы.— Когда Кацуку узнала, что Окабэ остался жив, она согласилась дать показания. Вот инспектор и потребовал вызвать тебя.

— Какой вздор! Не знаю, что уж наплела эта испорченная девчонка! Я всегда подозревал: когда-нибудь эта неблагодарная дрянь обязательно меня укусит, как собака кусает вскормившего ее хозяина.

Продолжая выполнять привычную работу, Отанэ перевела взгляд на Кёту. Должно быть, ее удивило, что он так яростно поносил Кацуку. Однако лицо ее оставалось совершенно бесстрастным, словно окаменевшим.

— Вздор, вздор, конечно же, все это чепуха! И разве можно что-либо доказать?! — раздраженно выкрикивал Кёта.

— Кацуку солгала? — тихо спросила Отанэ.

— Разве не ясно? Иначе зачем бы им вызывать меня в полицию! — продолжал вопить Кёта. — Мы воспитали эту чертовку, как родное дитя, а она отвечает нам черной неблагодарностью. Да она хуже скотины, подлая тварь!.. Ничего... У них нет никаких доказательств, никаких!

На следующее утро, допив оставшееся сакэ, Кёта ушел из дому, но в полиции так и не появился. Он обошел посредников, снабжавших работой его жену, выпросил у них аванс и исчез.

За лечение Окабэ заплатила Канаэ. Как-то она появилась в доме Кёта, разодетая в пух и прах, расселась и принялась чесать язык. На этот раз мишенью был Кёта. По-видимому, он и у нее пытался выманить деньги.

— Но меня не проведешь! Я сразу поняла: что-то здесь не так, — тараторила Канаэ, горделиво вздернув носик. — У труса все на лице написано. А у него было такое лицо, такое лицо, словно ему предстоит бежать сотню миль в ботинках, надетых не на ту ногу. Я сразу смекнула: дело нечисто. Не дала ему ни гроша — и адIOS<sup>4</sup>!

Наговорившись всласть, но не обмолвившись ни словом о Кацуку, Канаэ оставила деньги и удалилась.

Кацуку вернулась домой спустя три месяца. И сразу принялась за работу, словно ничего не произошло. С теткой она вела себя как обычно — не поблагодарила ее и не извинилась. И даже не поинтересовалась, куда девался Кёта. Соседские дети, получив строгий наказ от родителей, перестали обзывать Кацуку уродиной и испуганно сторонились, когда она проходила по улице.

Кацуку так никому и не рассказала о том, кто надругался над ней и почему она пырнула ножом Окабэ. Похоже, девочка кое в чем все же призналась полицейскому инспектору, но, сохраняя служебную тайну, он ни с кем этим не поделился, и дело, как говорится, кануло в мрак неизвестности.

---

<sup>4</sup> Прощай (*исп.*).

С той поры, как исчез Кёта, отпала нужда покупать сакэ в лавке Исэماسа. А за соевым соусом и мисо Кацуко ходила в другую лавку, где они стоили дешевле.

Окабэ поправился и вышел из больницы, но Отанэ сочла за лучшее не сообщать об этом Кацуко. Сама же девочка делала вид, будто разговоры об Окабэ ее вовсе не интересуют.

Но однажды, когда Кацуко возвращалась с покупками домой, Окабэ окликнул ее. На нем были шерстяные брюки и свитер, поверх — передник с изображением рекламы сакэ, на ногах — короткие резиновые сапоги.

— Здравствуй, Кацуко,— приветливо сказал он, остановив велосипед и опуская одну ногу на землю.— Почему не заходишь в нашу лавку?.. Извини, забыл, ведь дяди твоего теперь нет...

Кацуко спокойно взглянула на него, медленно опустила глаза и едва слышно прошептала:

— Простите меня.

Она сказала это так тихо, что Окабэ с трудом расслышал.

— Никак не пойму, почему ты это сделала,— заговорил он, в упор глядя на Кацуко.

Кацуко подняла на него глаза и снова потупилась:

— Хотела умереть,— ответила она.

— Хотела умереть? Ты?..

Кацуко кивнула.

— Что-то не пойму,— удивился Окабэ.— Умереть хотела ты, а убить пыталась меня...

— Трудно объяснить,— сказала она после некоторого раздумья.— Сейчас мне и самой это непонятно. Когда я решила умереть, мне вдруг стало страшно, очень страшно оттого, что ты меня забудешь. Забудешь, как только я умру...

— Так вот оно что...— с расстановкой произнес Окабэ. И неожиданно предложил: — Пойдем, я тебя пирожками угощу.

— Я не хочу есть,— сказала Кацуко.

— Ну, тогда до встречи.— Окабэ широко улыбнулся.— Знаешь, я начал кататься на коньках. Не на роликовых, на настоящих. Когда научусь, приходи поглядеть.

Кацуко молчала. Окабэ вскочил на велосипед, махнул рукой и заработал педалями. Глядя ему вслед, Кацуко прошептала:

— Прости меня, Окабэ...

## Засохшее дерево

Хэй жил один в лачуге, которую сам и построил. Вкопал в землю четыре столба, обшил их старыми досками, крышу покрыл подобранными на свалке листами ржавого железа, навесил дверь — такую низкую, что пройти в нее можно было, лишь основательно согнувшись; с южной стороны прорубил квадратное оконце и вставил в него матовое, едва пропускавшее дневной свет стекло.

Люди, населявшие эту улицу, всегда старались как-то скрасить убожество своих жилищ: вешали на стены пучки папоротника, выращивали в горшках вьюнок, сажали цветы на клочке земли перед домом, полировали до блеска опорные столбы и пороги своих ветхих домишек, без усталости драили панели, двери и находили во всем этом маленькие радости и отдохновение.

Ни о чем таком Хэй не помышлял. Его лачуга стояла на отшибе, посреди унылого пустыря, заваленного обломками черепицы, битой посуды и шлаком, сквозь которые едва пробивалась трава. От дверей лачуги через пустырь шла чуть заметная тропинка, протоптанная Хэем, а перед окном торчало из земли высушенное, одинокое деревце высотой не более метра. По всей видимости, высохло оно много лет назад, и теперь уже невозможно было определить, какой оно породы.

Хэй ни с кем не общался, ни с кем, за редким исключением, не здоровался сам и не отвечал на приветствия. Никто не знал ни его настоящего имени, ни возраста. На вид ему можно было дать лет пятьдесят-шестьдесят, но иногда он казался изможденным до предела, немощным семидесятилетним старцем. Он был невысок ростом, худощав, но мускулист, его загорелая кожа не потеряла блеска. В общем, это был здоровый человек, а его лицо, тонко очерченное, с густыми бровями, было не лишено благородства.

— Должно быть, в молодости был мужчина что надо, — судачили хозяйки у колодца. — Да он вроде бы и сейчас

ничего. Говорят, недавно к нему ночью пробиралась одна какая-то.

— Кто же это на него польстился?

— Кто ходил, тот знает. Нечего совать нос в чужие дела.

Трудно сказать, знал ли Хэй о пересудах здешних сплетниц, — во всяком случае, он молчал и не обнаруживал намерений изменить свое холостяцкое положение.

Хэй занимался изготовлением тряпичных ковриков. Он покупал у старьевщиков ветошь, вываривал ее в котле на печке, которую сложил из кирпичей на пустыре, потом сушил на солнце. Высохшие тряпки он разрезал на ленты сантиметра в два шириной и плотно скручивал их. Ткацкий станок был у него чрезвычайно примитивный, — по-видимому, хозяин сам его смастерил. Коврики получались незамысловатые — такие кладут под ноги после бани или подстилают под хиба<sup>1</sup>, — но добротные, прочные, и покупателей у Хэя было хоть отбавляй.

Рано утром Хэй шел к колодцу, прихватив с собой таз с полотенцем и старое ведро. Умывшись и наполнив ведро водой, он возвращался обратно. Снимал с полки ящик из-под мандаринов, доставал оттуда рис и ячмень, отсыпал сколько нужно в алюминиевую кастрюлю, снова отправлялся к колодцу, промывал рис и ячмень, возвращался к лачуге и ставил кастрюлю на огонь. Здешние жители большей частью занимались поденной работой, вставали рано и приходили к колодцу примерно в то же время, что и Хэй. Некоторые заговаривали с ним, но он, по своему обыкновению, отмалчивался. Как-то один вспыльчивый парень не на шутку разозлился: оглох ты, мол, что ли, отвечай, когда с тобой здороваются! И подступил к Хэю с кулаками, но, увидав застывшее, словно маска, лицо Хэя с неподвижными зрачками, крепко выругался и пошел.

— Ну и человек — аж дрожь пробирает, — рассказывал потом этот парень. — Глянул я на него — глаза мертвеца! Бьюсь об заклад: у него в жилах не кровь течет, а вода ледяная.

Ел Хэй день за днем одно и то же: рис, сваренный пополам с ячменем, мисо<sup>2</sup> и соленья. Мисо он покупал в лавке, а соленья заготавливал сам.

<sup>1</sup> Х и б а т и — японская переносная жаровня для обогрева жилого помещения.

<sup>2</sup> М и с о — густая масса из перебродивших соевых бобов, служит для приготовления супов и в качестве приправы.

Он постоянно находился в движении. Не работал, а именно совершал заученные «движения» — «действовал». Принесил здоровенный мешок с ветошью, вываливал ее на землю, сортировал, разжигал самодельную печь, кипятил тряпье в баке, подсыпая туда стиральный порошок, и время от времени помешивал содержимое бака палкой. И все это молча, не глядя по сторонам, не отвлекая себя какой-нибудь песенкой вполголоса. По мере необходимости приходило в движение его тело, руки, ноги — и только. Чувства и мысли, казалось, ни в чем не участвовали.

Женщины у колодца частенько толковали о Хэе.

— Коврики его покупатели прямо из рук рвут. Представляю, сколько он деньжищ накопил.

— И на что ему? Живет один, родных вроде бы нет. В могилу, что ли, унести собирается?

— Никаких развлечений себе не позволяет: в кино не ходит, приемник не купит даже. Может, тайком на девочек трахается?

— Ну и дурак. На нашей улице только свистни — любая и задаром придет...

Однажды перед лачугой Хэя появилась женщина лет пятидесяти с маленьким узелком в руках. Небольшого роста, стройная, белолицая, волосы черные, густые, на миниатюрном личике выделялись широкие черные брови и яркие полные губы.

Хэя не было дома, и женщина, видно, решила подождать его. Она обошла лачугу кругом, остановилась перед засохшим деревом, потрогала его ветки, потом присела на корточках, прислонилась спиной к дощатой стене дома и закрыла глаза.

Лачуга стояла на отшибе, и можно было не опасаться назойливых расспросов любопытных соседей. Мимо протрусила бродячая собака, посмотрела на женщину и, не приметив ничего для себя интересного, побежала дальше не оглядываясь.

Спустя два часа появился Хэй. Женщина настолько задумалась, что не заметила его прихода. Услышав скрип открываемой двери, она быстро поднялась и замерла, задохнувшись от волнения. Ее красивое, белое лицо стало краснеть, словно по нему провели смоченной в краске кистью. Рука, державшая узелок, напряглась.

Когда женщина открыла дверь в лачугу, Хэй стоял к ней спиной и снимал свое порядком поношенное пальто. Женщина затворила дверь и тихо сказала:

— Это я.

Хэй обернулся, волоча по полу наполовину снятое пальто. Женщина прижала узелок к груди, словно пытаясь этим жестом защитить себя, и поклонилась. Хэй пронзительно глянул на нее. Лицо женщины, только что казавшееся молодым и привлекательным, на глазах стало блекнуть и увядать.

Хэй молча отвернулся, снял пальто и выцветшую коричневую шапку и поднялся на дощатый настил чистой половицы комнаты. Женщина медленно обвела взглядом «прихожую» с земляным полом: стол, под столом таз для умывания, жестяная коробка со стиральным порошком, песколько бутылей, два ведра; у стены напротив — невысокий шкафчик, на верхней полке аккуратно расставлена посуда, коробочка с безопасной бритвой, мыльница, на нижней — три ящика из-под мандаринов и алюминиевая кастрюля.

Женщина положила свой узелок на край дощатого настила, вытащила из него шнурок, подвязала широкие рукава кимоно. Потом взяла пустое ведро и вышла за дверь. С того дня женщина стала жить в лачуге Хэя.

Хэй не разговаривал с ней и даже не глядел в ее сторону. Не то чтобы он игнорировал ее. Просто ее приход, ее присутствие в этом доме представлялись ему абсолютно нереальными. Женщина носила воду, готовила еду, занималась уборкой, стирала, ходила за продуктами. Хэй ел то, что она готовила, надевал выстиранную ею одежду, спал в постели, которую женщина стелила ему на ночь. Все это он проделывал так же неосознанно, как и все остальное, когда находился «в движении». Даже во время еды он не сознавал, что, мол, «я ем», — он просто совершал необходимые движения: брал пищу палочками для еды, отправлял ее в рот, жевал и проглатывал.

С приходом женщины заведенный Хэем порядок не изменился. Он, как и прежде, ходил к старьевщикам за ветошью, вываривал ее, сушил, разрезал на полосы и ткал коврики. Если женщина выражала желание помочь ему, он молча разрешал ей делать то, что она хочет. Вопреки всеобщему мнению, будто Хэй никого не допускает к станку — ведь коврики пользовались спросом именно благодаря его умению и тщательности работы, — он преспокойно предоставлял женщине,

когда она того хотела, возможность ткать коврики, а сам занимался чем-нибудь другим.

Соткав несколько ковриков, Хэй отправлялся их продавать. Оставшись одна, женщина наводила порядок в лачуге, подметала у входа снаружи, подбирала с земли и относила на помойку обломки черепицы, осколки посуды, обрывки бумаги и прочий мусор.

После ужина Хэй, недолго передохнув, часов до десяти снова ткал коврики — не потому, что в этом была такая нужда, — наверное, он просто старался убить время. Когда от слабого света свечи уставали и начинали слезиться глаза, он убирал свой станок и ложился спать. Женщина тихонько укладывалась рядом, накрывшись одним лишь тонким одеялом. Когда она гасила свечу, комнату окутывала крошечная тьма, если, конечно, ночь не была лунная. Хэй ворочался во сне, но почти никогда не храпел.

Женщина начинала тихо всхлипывать.

Ее рыдания напоминали шелест ветра в степи. Время от времени она шептала еле слышно — словно трава шелестела на ветру:

— В магазине все идет хорошо. Зять трудится, не жалея сил, — золотой человек! И ко мне хорошо относится. Когда о тебе заходит разговор, он всегда просит пригласить тебя в гости...

И, всхлипнув, продолжала:

— Что мне делать, скажи... Была я у родителей единственной наследницей, мне все позволялось. Бывало, поступала нехорошо, но даже не понимала, что так нельзя. И с тем человеком случилось так не потому, что он мне особенно нравился. Я даже толком не поняла, что именно от него родила ребенка. Поверь мне хотя бы в этом.

Хэй не шевелился.

— Что же мне делать? Вот уже двадцать пять лет, как ты ушел. Понимаю, тебе пришлось несладко, да ведь и мне было тяжело, невыносимо. Покойная матушка без конца твердила, что нет мне прощения. А когда она умерла, я сама корила себя, сама себя возненавидела.

Все эти фразы произносились уже десятки раз — всегда одинаково, в одном и том же порядке, словно заученный монолог: «тяжело», «невыносимо», «сама себя возненавидела», и смысл их стирался, оставался только шелест ничего не значащих слов.

— Даже с убийцы, — шептала женщина, — снимают вину

после того, как он отбудет свой срок на каторге. Почему же ты не хочешь простить меня? Только скажи, и я сделаю все, что ты захочешь.

Хэй молчал, что бы ни говорила женщина. Он не слышал ее. Все равно как камень на дороге. Ветер его обдувает, но он к ветру никакого отношения не имеет.

Женщина пробыла в лачуге двенадцать дней, а на тринадцатый собралась уходить. Когда Хэй, продав очередную партию ковриков, вернулся домой, она сидела на краю дощатого настила, держа на коленях свой узелок.

Сгущались зимние сумерки. Хэй, как обычно, снял пальто, шапку и прошел мимо женщины на половину с дощатым полом.

Женщина понурившись глядела в землю. Ее лицо осунулось и побледнело, на сложенных на коленях руках заметнее обозначились морщины. За ее спиной слышались шаги Хэя. Может быть, она все еще надеялась, что Хэй что-нибудь скажет? Наконец женщина встала, пригладила рукой волосы, тихонько вздохнула.

— Значит, ничего не получится? — спросила она едва слышно. — Ты не хочешь меня простить?

Хэй опустил на земляной пол, открыл стоявшую на полке алюминиевую кастрюлю — она была пуста. Женщина ничего не сварила.

Увидев, что кастрюля пуста, Хэй полез в ящик за рисом и ячменем. Его нисколько не удивило, что женщина сегодня не приготовила еду. Привычными движениями он отмерил рис, ячмень, подхватил кастрюлю и вышел из лачуги.

Женщина сняла с колен узелок, устало поднялась и рассеянно обвела лачугу ничего не видящим взглядом.

Потом она нерешительно вышла и закрыла за собой дверь. Облака на небе были чуть подсвечены уже невидимым солнцем, и от этого окутавшая землю тьма казалась еще непрогляднее. Женщина обошла лачугу, остановилась у засохшего дерева перед окном, коснулась его рукой и прошептала:

— Да-да, это, наверное, была дикая маслина.

Она не имела в виду, что и засохшее это дерево все же оставалось дикой маслиной. Нет. Голос ее прозвучал с такой безнадежностью, будто оно вовсе перестало быть деревом.

Она еще больше ссутулилась и пошла прочь.

Хэй поставил кастрюлю на печь и начал разжигать огонь. Узким столбом поднялась белая струйка дыма, и красные языки пламени стали лизать дно кастрюли. В его отблесках резко обозначился профиль Хэя. Его бесстрастное лицо было неподвижно, глаза с расширившимися зрачками невидящим взглядом глядели во тьму.

Ветер усилился, и печка слегка задымила. Кашляя от дыма, Хэй подбросил в огонь несколько поленьев.

## Наивная жена

Току-сан женился.

Току-сан считал себя профессиональным игроком и с гордостью заявлял, что состоит в родстве с боссом известного игорного дома. Трудно сказать, насколько это отвечало истине, но то, что Току-сан был страстным любителем пари, — факт бесспорный.

Току-сан предлагал пари в любое время и в любом месте — был бы только партнер.

— Заключим пари, — уговаривает он очередную жертву. — Какой номер у следующего трамвая — четный или нечетный?

Или говорит:

— Давай пари на твои зубы: четное или нечетное у тебя число зубов? Можно по отдельности — в верхней и нижней челюстях, а можно — вместе.

— погоди, — останавливает он партнера. — Рот закрывать нельзя, иначе ты заранее сможешь кончиком языка сосчитать свои зубы. Ты рот открой и высунь язык — тогда будет без обмана.

Объектом пари для него могло служить все что угодно: количество слоев на срезе дерева, возраст идущего навстречу старика, число мешков с мандаринами в лавке, или спичек в спичечной коробке, или лепестков на цветке, или рисинок в миске — короче говоря, все, что не имеет заранее заданного числа. Току-сан почему-то утверждал, что ему тридцать два года, хотя на самом деле ему было не более двадцати восьми. Он был упитан, даже полноват для своих лет, летом и зимой носил одно и то же застиранное легкое кимоно, поверх которого надевал зимой дырявую кофту на вате. Кофта была женская и такая старая, что невозможно было определить, какая она по расцветке. Когда Току-сана спрашивали, почему он носит женскую кофту, он на целый час заводил романтическую историю об одной женщине, которая со слезами на

глазах умоляла принять от нее эту кофту. Если его перебивали, говоря, что уже слышали об этом, он немедленно начинал рассказывать другую историю о другой его возлюбленной, которая тоже уговаривала его принять от нее кофту. Его лицо иногда казалось продолговатым, иногда круглым, как шар. Брови почти незаметны, глаза узкие, губы толстые, угреватый нос — пористый, словно кожура мандарина. Ростом Току-сан был не более метра шестидесяти, хотя всем и каждому с гордостью заявлял, что в нем не меньше ста семидесяти сантиметров, и на людях он всегда тянулся вверх, насколько хватало сил.

Однажды к Току-сан зашел полицейский — выяснить кое-что о жившем по соседству Синго.

— Что вам от меня нужно? — увидав на пороге полицейского, дрожащим голосом спросил Току-сан, трясаясь от страха. — Я никакого отношения к игрокам не имею.

— Вас лично это не касается, — листая блокнот и даже не глядя в сторону Току-сана, ответил полицейский. — Меня интересует Кобэ Синго. Вы знаете какого?

Поняв, что полицейский пришел не за ним, Току-сан успокоился, перестал трястись и даже повеселел. Тут-то и дала о себе знать его многолетняя привычка:

— Знаю я Кобэ или не знаю... — произнес Току-сан, лукаво поглядывая на полицейского. — Давайте пари.

Полицейский бросил на него недоуменный взгляд:

— Чего «давайте»?

— Пари, заключим пари! Что тут непонятного?

Полицейский от удивления разинул рот.

— Господину полицейскому предоставляется преимущество сказать первому: знаю я Кобэ или не знаю? Я человек честный и заключаю пари без жульничества. Ну, идет?

Никто в точности не знает, как воспринял полицейский это предложение. Одни говорили, что он разозлился, другие — что расхохотался, третьи утверждали, будто он промолчал, сделав вид, что ничего не слышал.

И вот этот самый Току-сан женился. Однажды вечером вместе с молодой женщиной он стал обходить всех соседей:

— Знакомьтесь, моя жена. Ей восемнадцать лет, зовут Кунико. Прошу любить и жаловать.

Кунико была милостивой толстушкой небольшого роста, с кукольным личиком, миниатюрным ртом и носиком.

— Этой Кунико, — вынесли приговор соседки, — никакие не восемнадцать, а все двадцать два, а то и двадцать три.

Похоже, Току-сан подобрал ее в каком-нибудь сомнительном баре, а то и на панели.

Говорилось это не по злобе. Подобным образом местные женщины поносили всех, кто впервые появлялся на их улице. Спустя некоторое время, ближе познакомившись с новоселом, они становились закадычными друзьями и тогда, наоборот, хвалили его на все лады.

Но тут вышло по-другому. Кунико не проявила желания сойтись поближе с соседками. У колодца она не появлялась, в лавки не ходила. Все делал Току-сан — покупал продукты, занимался стиркой у колодца. Он не брезговал стирать даже нижнее белье Кунико. Такое было бы еще простительно для пожилых, давно женатых людей, да и то, если жена больна, но для молодоженов, при здоровой жене!.. Позорище! Женщины, которые целыми днями гнули спину, обихаживая мужа и детей, выходили из себя.

Току-сан только посмеивался:

— Моя Кунико не от мира сего. Она застенчивая, чужих сторонится. Пусть пока посидит дома. Я считаю, если муж стирает на жену, значит, любит ее. Кое-кто злословит насчет нас — ну и пусть, это из зависти.

Гнев женщин достиг апогея: да как он посмел объяснить их слова завистью! Это злило их больше всего именно потому, что было чистой правдой. Откровенно говоря, такого отпора они не ожидали. Женщины всячески поносили Току-сана, называя его размазней, жалким слюнтяем, позорящим все мужское население улицы. Однако Току-сан воспринимал злопахательство соседок совершенно спокойно, считая его вполне естественным, раз они завидуют его замечательной жене.

Из всех здешних жителей Току-сан водил знакомство лишь со старым Тамба. Только Тамба принимал всерьез его бесконечные рассказы и к тому же никогда не отказывал в небольших ссудах, когда Току-сан просил в долг. И само собой разумеется, что, когда у Току-сана возникало желание рассказать кому-нибудь о достоинствах своей супруги, он прежде всего отправлялся к Тамба.

— Она такая верующая, такая религиозная! — начинал он. — Даже постель не просто так стелит, а думает, в какой стороне должно быть изголовье. В первый вечер я просто растерялся, когда она вдруг внимательно так поглядела на меня

и спрашивает: «В какой стороне от нас находится Тайсяку-сама<sup>1</sup>?» Я просто ошалел: да почему я знаю, где он там находится, какое нам до него дело в такой момент. А Кунико спокойно так мне объясняет, что сегодня день Тайсяку-сама и того, кто ляжет спать ногами в его сторону, постигнет божья кара.

Тут я встревожился: в самом деле, где же он, Тайсяку-сама, находится. Кстати, а ты, Тамба, знаешь?

— Н-да... честно говоря, не знаю.

— Вот и я не знал. Кунико нахмурила брови, задумалась, потом решила: «Тогда постелим так, как я делала раньше». И постелила изголовьем на юго-запад.

— Следующий день был днем Фудо-сама, — продолжал Току-сан. — К счастью, я запомнил кое-что о нем во время последнего храмового праздника. Справился и с богами Компира и Инари, но, когда дело дошло до богини Каннон<sup>2</sup>, я, честно говоря, растерялся. Тебе ведь известно, что богиня Каннон вездесуща. Как тут быть? Даже Кунико отчаялась. Думали мы думали и порешили: ляжем головой в сторону главного храма Каннон — другого выхода нет!

— И так каждый вечер? — спросил Тамба.

— Каждый вечер! — подтвердил Току-сан. — Вот я и думаю: женская голова к умным вещам не больно приспособлена, а Кунико — исключение. Вряд ли найдется другая женщина, которая бы знала по именам столько богов, сколько моя жена знает. Да и таких религиозных, как она, я до сих пор не встречал.

— Да, это редкость, — согласно кивнул старей Тамба.

Спустя два с лишним месяца после женитьбы Току-сан явился к приятелю за советом.

— Понимаешь, такое дело, сразу и не скажешь... — начал Току-сан, смущенно почесывая затылок. — Я уже говорил, что Кунико — женщина не от мира сего, такая наивная, суицидальная. С ней творится что-то непонятное.

Старик молча глядел на лежавшую перед ним шахматную доску с расставленными на ней фигурами, ожидая продолжения.

— Понимаешь, в тот самый момент, когда я трудился изо всех сил — даже пот прошиб, — она вдруг возьми и спроси:

<sup>1</sup> Тайсяку-сама — буддийское божество, страж Востока.

<sup>2</sup> Фудо-сама (Фудо-мёо) — буддийский бог огня; Компира — буддийский бог, покровительствующий морякам; Инари — синтоистский бог урожая риса; Каннон — буддийская богиня милосердия.

«Почему осенью листья с деревьев облетают?» Я удивился и говорю: «Ты все время об этом думала?» А она в ответ: «Нет, мне только сейчас это пришло в голову и не дает покоя». — «Нашла время, — говорю я, — не о том сейчас думать надо». Ну и опять поддал. А в мыслях засело: отчего, в самом деле, осенью листья с деревьев облетают? Плюнул я с досады — и сошел с поезда раньше времени.

— А в другой раз, — продолжал Току-сан, — ее заинтересовали зубы. Понимаешь, в самый разгар, когда я взмок весь, она вдруг тихо так спрашивает: «Из чего у человека зубы сделаны?» Я ей сразу отвечаю, лишь бы отделаться: «Как из чего? Из зубов!» А она: «Вроде бы они не кость и не мясо, тогда из чего же они сделаны?» — «Кончай, — говорю, — не время сейчас разговоры разговаривать». Да уж где там! Сам только о том и думаю: из чего все-таки зубы сделаны, раз они не кость и не мясо? А она помолчала и опять: «Отчего есть бумажки в сто и тысячу иен, а в сто пятьдесят и тысячу пятьсот — нет?» — «Это, — отвечаю, — дело правительства и меня не касается». А она говорит: «Придется написать в газету, в раздел „Полезные советы“. Может, там знают». И такое меня зло разобрало из-за этих дурацких вопросов, что опять все пошло насмарку... Знаешь, Тамба, я ничего не имею против того, что она размышляет. Простой человек даже не задумается над тем, почему осенью листья облетают. И это, я тебе скажу, еще одно подтверждение, что у Кунико головка светлая. Но нельзя даже самые прекрасные мысли высказывать когда попало! Я ей объясняю: «Ты хоть выбирай время и место, когда свои умные вопросы задавать. От главного сейчас меня отвлекаешь...»

Старый Тамба осторожно передвинул пешку на шахматной доске и тихонько вздохнул.

— У Кунико характер покладистый, — продолжал Току-сан, — она мне никогда не перечит, во всем со мной соглашается. Но то ли она очень забывчивая, то ли это вошло у нее в привычку: всякий раз что-нибудь да выложит — словно холодной водой окатит. Вот, к примеру, говорит: «Назови семь богов счастья». Ну, я начинаю перечислять: Бэндзайтэн, Дзюродзин, Бисямонтэн, Хотэй, Эбису, Дайкокутэн... А она, негодница, загибает пальцы: одного, мол, пропустил... Ничего тут смешного нет, Тамба, плакать надо!

— Я и не смеюсь.

— Ведь это не шутка. Каждый раз, как я берусь за дело, она начинает свои «что» да «почему». Почему, к примеру,

у таксиста в машине голова не кружится? Или, как, мол, ты считаешь, что страшнее: повеситься, утопиться или под поезд броситься? Представляешь, Тамба, мое состояние?

Старик зажал ладонью рот и как-то странно закашлялся.

— У меня наконец терпение лопнуло. Думаю: если этому не положить конец, наша семья развалится. Встал с постели и спрашиваю напрямик: «Ты что, издеваешься надо мной? То у тебя одно, то другое, а теперь еще что-то новенькое. Ну скажи на милость, какое отношение имеют все твои вопросы к тому, чем мы сейчас занимаемся? Неужели нельзя спросить в другое время?»

Кунико покосилась на меня и говорит: «Сама не знаю, отчего так получается. Мадам всегда нам внушала: когда обслуживаете клиента, старайтесь отвлечься, думайте о чем-нибудь постороннем, так легче сохранить здоровье. Вот я и привыкла». Можешь себе такое представить, Тамба?!

— Н-да...— произнес старик после некоторого раздумья. Потом сочувственно добавил: — Всякое бывает. Похоже, она и в самом деле не от мира сего.

— Пожалуй, даже слишком,— сокрушенно отозвался Токку-сан.— Ну можно ли быть такой наивной, да еще после семи лет работы в баре!

— Ты ее береги,— посоветовал старый Тамба.— Уверю тебя, из нее получится хорошая жена.

А Кунико тем временем спокойно полеживала дома и мурлыкала песенку: «До чего же много забот у замужней женщины...»

У Саваками Рётаро было пятеро детей: Таро, Дзиро, Ханako, Сиро и Умэко. Старшему сыну исполнилось десять, а младшей дочери пошел пятый год — появлялись на свет они один за другим почти ежегодно. А Мисао, жена Рётаро, снова была беременна.

Здесь жители знали, что Рётаро не был детям родным отцом. У каждого из них был свой отец. Жили все отцы на той же улице и, конечно, представляли себе, кто кому приходится сыном или дочерью.

Но лучше всех, естественно, знала об этом Мисао, родившая всех пятерых. Предполагалось, что в неведении оставались лишь сами дети да Саваками Рётаро.

Рётаро, которого все для краткости называли Рё-сан, был невысок ростом и в меру упитан. Его круглое лицо с толстыми губами постоянно излучало добродушие, а маленькие круглые глазки то высматривали что-то из-под густых бровей, то прятались в их тени.

— В лице Рё-сан есть все, что отличает человека широкой натуры, — утверждал старый скупердяй Хакии. — От всех его черт так и веет добротой.

— Нет, вы взгляните в его лицо! Это лицо человека, который до сих пор не может очнуться от гипноза, в который его погрузила жена, — говорил исповедовавший христианство господин Сайта.

— Глупости! — возражала женщина из дома Огамия. — Поглядите, какие у него глаза. Он ведь всех нас за дурачков считает. Да разве только нас! Для него и люди, и боги, и будды — все набитые дураки.

Мисао, жена Рё-сана, — худенькая женщина с узким лицом и заострившимися скулами, с глубоко посаженными и воинственно поблескивающими глазами. Кожа у нее смуглая, волосы темно-каштановые, вьющиеся, лоб слегка выпуклый. Она на три года моложе Рё-сана. Ей тридцать два года,

но выглядит она значительно старше — ей можно дать все сорок.

Мисао почти не бывает дома. Правда, еду она готовит, иногда чинит детям одежду, но в основном она проводит время в болтовне с соседками, разнимает спорящих и дерущихся хозяек, сама при случае вступает в драку, выпивает рюмочку за примирение, а потом вдруг куда-то исчезает на полдня.

— Что за жизнь у женщины! — ворчит Мисао, возвращаясь домой. — Мужчина ведет себя как ему заблагорассудится: я, мол, глава семьи — и все тут. Не послушаешься — кулаки в ход пускает. А женщина? День-деньской работает так, что кости трещат. А чтобы получить удовольствие — в театр сходить или еще куда — ни-ни! Как подумаешь, ради чего все старания, до слез становится жалко себя.

Рё-сан, прислушиваясь к воркотне жены, тихо улыбается, а руки его продолжают споро изготовлять щетки.

Рё-сан — известный на всю округу щеточник. Он делает щетки для волос — товар пользуется большим спросом у оптовых торговцев. Его щетки занимают почетное место даже в первоклассных галантерейных магазинах. Свою работу он делает тщательно, но настолько медленно, что, как говорят, «даже зло берет». Его медлительность вызывает раздражение не только у оптовиков, но и у жены. Она, к примеру, видеть не может, как он не спеша управляет с палочками для еды.

— Гляжу, как ты ешь, даже пятки начинают чесаться, — возмущается Мисао. — Откуда только берутся такие недотепы? Были бы живы твои родители, я бы не поленилась — пошла бы к ним и спросила, как это им удалось произвести на свет божий эдакого увальня?!

Маленькие, круглые глазки Рё-сана сужаются, на губах появляется едва заметная улыбка. Он молчит и продолжает работать.

На приобретенном янтарный цвет верстаке в строгом порядке лежат трехдюймовая доска, коробка со свиной щетиной, деревянные колодки для щеток, моток тонкой проволоки, стоит кастрюля с клеем. Левой рукой Рё-сан выхватывает из коробки щепоть щетины. В каждое отверстие колодки надо вставить тридцать волосков, но точное количество ему никогда ухватить не удастся, и всякий раз он начинает их

пересчитывать, то добавляя, то убавляя по несколько щетинок.

— На что ты только время тратишь? — возмущается жена. — Ну какая разница — на одну-две щетинки больше или меньше?

— Может быть, и никакой, — отвечает Рё-сан, едва шевеля губами. — Да только для меня самого это важно: не могу успокоиться, пока в каждом отверстии не будет ровно по тридцать.

Подобрав нужное количество щетинок, Рё-сан выравнивает пучок, постукивая им о доску у края стола, потом обматывает его тонкой проволокой, пропускает свободный конец в отверстие колодки, закрепляет пучок и отрезает ножницами лишний конец проволоки. В каждой колодке — ровно девяносто четыре отверстия: по двадцать в трех средних рядах и по семнадцать — в двух крайних. Закрепив в каждом отверстии по пучку, Рё-сан ровняет проволочные петли, наносит на колодку слой клея и прижимает к ней наружную, покрытую лаком дощечку.

Кастрюля с клеем постоянно грелась на хибати, поскольку клей должен быть всегда готовым к употреблению, и весь дом был пропитан его острым запахом.

— Среди такой вони жить не хочется, — капризно морщась, жаловалась Мисао. — На свете столько умных людей! Ну хоть бы один из них пошевелил мозгами да придумал, как освободиться от этого запаха. Воицца — хоть беги из дома!

Мисао не считала нужным помогать мужу в работе. Поругав его за медлительность и отпустив пару крепких слов по поводу запаха горячего клея, она поспешно уходила из дому. Возвращалась к ужину, обедали же обычно без нее.

Домашние давно уже к этому привыкли, и, когда наступало время обеда, Рё-сан накрывал на стол, и дети послушно приступали к трапезе. Все они уже учились в школе, кроме самой маленькой, и проявляли недюжинные способности, а старший, Таро, был бессменным старостой класса.

— Эти детишки — главное чудо из семи чудес нашей улицы, — говорили местные жители. — Просто не верится, что среди нас могли появиться на свет такие способные дети.

Мисао была не ласкова с детьми, и они платили ей тем же. Потому ли, что источником средств существования была работа Рё-сана, а может быть, из-за возникшего в юных сердцах чувства жалости к отцу, все пятеро обращались со сво-

ими горестями и радостями только к отцу и всегда выражали готовность помочь ему. С матерью же, даже когда она бывала дома, предпочитали не общаться.

Местные жители носили застиранную до дыр, бессчетное число раз штопанную и перелицованную одежду. Даже решившись справиться обновку, они пользовались главным образом услугами старьевщиков — покупали у них остатки материи или ношеную одежду, которую потом перешивали.

Семья Рё-сана не была исключением в этом отношении. Одежда детей была перешита из старья, рубашки и брюки, блузки и юбки лицевались и штопались. Время от времени этим занималась Мисао, но справедливости ради следует сказать, что большая часть работы ложилась все же на плечи Рё-сана. Дети постоянно находились у него на глазах, и, естественно, он первым замечал непорядок в их одежде.

Дети в меру своих сил кое-что делали по хозяйству. Ханакэ ходила еще только во второй класс, но уже научилась чинить и штопать одежду. Таро и Дзиро занимались стиркой. А когда у них выпадала свободная минутка, помогали Рё-сану изготавливать щетки.

— Не пойму, что вы за дети? — нередко говорила Мисао, обращаясь к мальчикам. — Разве это мужская работа — заниматься стиркой? Заранее вижу: растратите себя по пустякам и ничего путного из вас не получится.

Дети отмалчивались. Учитель в школе не раз поучал: старайтесь обслуживать себя сами. Но если об этом сказать матери, она, чего доброго, высмеет и самого учителя. Поэтому они предпочитали не отвечать.

— Я сейчас в таком положении, что должна готовить себе отдельно, — время от времени напоминала Мисао.

И она действительно готовила себе мясо, требуху тунца и закуски.

— Я жду ребенка, — повторяла она при этом, — и мне нужна питательная еда.

Никто не обращал внимания на ее слова. Лишь самая маленькая Умэко — ей пошел всего пятый год, — почуввав запах жареного мяса, невольно поворачивалась к плите.

— Чего глаза пялишь?! — кричала Мисао, враждебно глядя на девочку. — Твоя мать в таком положении, что ей надо есть за двоих. Даже соседи удивляются, как это я могу рожать при таком скудном питании.

— И это тухлое мясо не дают съесть спокойно, — плаксивым голосом жаловалась она в другой раз. — Уж если тебе

так хочется — на, жри! — И она кидала содержимое тарелки в лицо Умэко, а сама принималась истерически рыдать.

Отец будущего ребенка был известен всем соседям. Год назад на их улице поселился молодой человек по имени Ёнэмура. Мисао сразу обратила на него внимание, но дело осложнялось тем, что к нему стала проявлять живейший интерес и вдова Отоми. Короче говоря, ни одна из женщин не захотела уступить. Отоми жила одна, свободного времени хоть отбавляй, и, само собой, это давало ей большие преимущества по сравнению с Мисао, обремененной пятью детьми. Однажды Мисао, заметив, что Ёнэмура тайком пробрался к Отоми, ворвалась к ней в дом и учинила грандиозный скандал. Сбежались соседи. Ёнэмура же, воспользовавшись суматохой, незаметно улизнул. Мисао стала всячески поносить парня, кричала, что он вытягивает из нее деньги, чтобы развлекаться с Отоми. Так местным женщинам удалось выяснить два давно мучивших их вопроса: каким образом Мисао удается завлечь столько мужчин и почему ее семья бьется в тисках нужды, несмотря на трудолюбие Рё-сана?

Мисао доставляла заказчикам изготовленные Рё-саном щетки и получала за них деньги. Рё-сан никогда не интересовался, сколько платили за его щетки, и Мисао могла тратить заработанные мужем деньги по своему усмотрению. Правда, какие уж там доходы у щеточника? Для своих возлюбленных Мисао могла выкроить лишь малую толику — на стаканчик-другой самогона.

Ёнэмура снимал койку у разнорабочего Тауры, иногда нанимался на поденную работу, но она ему быстро надоедала. Работал он не более десяти дней в месяц, а остальное время бездельничал.

У каждой из двух влюбленных в него женщин были свои преимущества. Ёнэмура хорошо это усвоил и умело действовал на два фронта. Однако после скандала Отоми покинула эти места, и фанфары победы протрубили в честь Мисао, монополю завладевшей Ёнэмурой.

Надо сказать, что отцы пятерых детей Мисао время от времени требовали к себе внимания:

— Послушай, как там мой сын Таро? Говорят, у тебя завелся молоденький. Должно быть, поэтому ты так похорошела.

— Как поживает Ханako? Почему совсем глаз не ка-

жешь? Будет тебе за молодыми ухлестывать. Загляни как-нибудь, вспомним старое.

— Не будь такой неприступной, Мисао, — уговаривал ее отец Сиро. — Поглядеть на тебя — ты женщина в самом соку, и, сдастся мне, одного молодого тебе не хватает. Будет время, заходи — повеселимся.

Отец Дзиро считал, что действия намного эффективней слов. Поэтому, повстречавшись с Мисао где-нибудь в безлюдном месте, он молча тащил ее в кусты.

Все это происходило на глазах у соседей. Мисао несколько не стеснялась и не сердилась на прежних ухажеров. Она даже бравировала этим, стараясь возбудить зависть у женщин.

Соседи посмеивались над Рё-саном, а иногда и намекали ему на неприличное поведение его жены. Но Рё-сан лишь скромно опускал свои маленькие круглые глазки и добродушно улыбался.

— Со дня сотворения Японии не было у нас такого наивного добряка, — говорили между собой мужчины.

И все же иногда Рё-сан ревниво разглядывал лица детей. Сидя вместе с ними за обеденным столом, он неожиданно ставил на стол чашку и начинал переводить удивленный взгляд с Таро на Дзиро, затем на Ханako, Сиро и Умэко.

— В чем дело, отец? — спрашивал кто-нибудь из детей. — Что-нибудь случилось?

Но Рё-сан тихо качал головой и, ласково улыбаясь, отвечал:

— Нет-нет, все в порядке. Просто гляжу на вас и думаю: как, однако, вы выросли за последнее время!

Однажды вечером Дзиро вернулся домой в слезах. Такое случилось с этим забиякой и раньше, поэтому сначала никто не обратил на него внимания.

Рё-сан делал очередную щетку, а Таро покрывал лаком дощечку. Ханako первая заметила, что Дзиро ведет себя необычно.

— Что с тобой, Дзиро? — спросила она. — Перестань плакать. Видишь, Умэко тоже вот-вот расплачется.

— Отец, — прошептал Дзиро, размазывая грязными руками слезы по лицу, — это правда, что все мы не твои дети?

Таро, Ханako и Сиро, затаив дыхание, смотрели на Рё-сана. В их глазах светилась надежда именно сейчас узнать то, о чем каждый из них уже подумывал.

Рё-сан отложил в сторону работу и медленно обвел взгля-

дом всех пятерых. Его лицо, как обычно, освещала улыбка, и лишь маленькие круглые глазки слегка сузились.

— Вы — мои дети, — произнес Рё-сан, помолчав. — Поэтому я люблю и берегу вас. Если же вы не любите меня, не считаете своим отцом, значит, я для вас и в самом деле не отец. Не так ли, Дзиро?

Дзиро вытер тыльной стороной руки глаза и жалобно прошептал:

— Но все говорят, давно говорят, что мы не твои дети.

— Люди разное говорят. О вашем отце, к примеру, они болтают, что он, мол, безвольный человек, тьюфак. — Рё-сан хрипло рассмеялся. — Но это неправда. Ваш отец — человек сильный и никому не уступит в драке. В детстве я был забиякой похлепце Дзиро — никому не давал спуска.

Рё-сан закатал рукав рубашки на левой руке и показал детям длинный коричневый шрам.

— Это след от ножевой раны — одноклассник пырнул. Я в ту пору в шестом классе учился. — И Рё-сан стал подробно рассказывать, как он посрамил самого главного хулигана в классе, от которого даже учителя страдали.

Дети слушали, замирая от страха. И только Таро стыдливо потупился. По-видимому, ему одному была известна подлинная история со шрамом.

— Вот каков ваш отец! — заключил свой рассказ Рё-сан. — Если понадобится, я и с тремя и с пятью справлюсь. Слабого я не задену, а уж сильному не спущу. А что до работы, то, если нужда будет, могу за день и двести и триста щеток сделать.

Скупщикам невдомек, сколько я могу наработать, вот они и болтают, будто я лентяй. Понял, Дзиро? — Рё-сан добродушно улыбнулся. — Так как же, дети? Кому вы больше верите: своему отцу или всяким там скупщикам и незнакомым людям?

— Тебе, отец, — в один голос заверили его дети. И лишь самая маленькая, Умако, не поняв, о чем речь, оглядела всех и указала пальчиком на Ханакю:

— А я своей старшей сестричке.

Все от души рассмеялись.

## Тяжкое дело — травиться!

После ужина я сидел в одиночестве, читал книгу и время от времени потягивал сакэ, закусывая пойманными накануне бычками. Неожиданно раздвинулись сёдзи<sup>1</sup>, и появилась Эйко из заведения «Киёкава».

— Сэнсэй, я заметила вашу тень на сёдзи, вот и решила заглянуть. Похоже, дела у вас идут неплохо. Угостите? — сказала она, указывая на двухлитровую бутылку с сакэ, которую я не успел спрятать.

Сакэ мне принес Такасиа. Сам он не пьет, а от кого-то получил в подарок три бутылки — две оставил для гостей, которые частенько собирались у него дома поболтать у очага, а одну отдал мне. В ту пору я только еще начинал понимать вкус сакэ и больше двух го<sup>2</sup> за раз не выпивал. Да и с деньгами было туговато, поэтому, когда хотелось выпить, я покупал обычно одно го. Можно себе представить, как я был счастлив, став обладателем такого богатства. И тут как назло заявила Эйко. Эйко служила в небольшой харчевне, где смазливые и разбитные служанки оказывали особые услуги посетителям. Одной из таких девиц была Эйко.

Не переставая болтать, Эйко вошла в дом, преспокойно открыла дешевый шкафчик для чайной посуды и в мгновение ока накрыла на стол.

Я понял, что придется смириться с ее присутствием, и повернулся к расставленному складному столику, за которым уже по-хозяйски расположилась Эйко. Торопливо объяснив, что холодное сакэ действует сильнее, хотя и не сразу, Эйко прямо из бутылки налила себе полную чайную чашку. Я смекнул, что надо срочно спасать хотя бы свою бутылочку с подогретым сакэ, и демонстративно поставил ее прямо перед собой.

<sup>1</sup> Сёдзи — оклеенные бумагой раздвижные перегородки в японском доме.

<sup>2</sup> Го — мера емкости, равная 0,18 л.

Эйко пожаловалась, что уже с полмесяца дела у нее идут неважно, и все потому, что мужчина пошел никудышный.

— Каково терпеть это мне, уроженке столицы? — заключила она с ярко выраженным не то ямагатским, не то фукусимским акцентом. Правда, судить о том, что ее акцент характерен именно для жителей Ямагаты или Фукусимы, я мог лишь со слов двух других девиц из заведения «Киёкава». Не исключено, что они ошибались. Однако Эйко бесспорно не была уроженкой Токио, ни тем более, как утверждала она, района Каанда, который в самом центре столицы.

— А знаете, сэнсэй, как-то мы вместе с одним парнем пытались покончить жизнь самоубийством. Налейте-ка мне еще! — Эйко была уже изрядно пьяна.

Я спросил у нее кое о чем. Она облизала край чашки — язык у нее был толстый и невероятно длинный — и сказала:

— Ей-богу, не вру! Спросите хозяйку «Соснового домика». Я в ту пору как раз у нее служила. Хотите, расскажу все как было? Только прежде хорошо бы заказать что-нибудь поесть в ресторане «Нэтогава». Не скупитесь, сэнсэй, у вас вроде завелись деньжата.

Я ответил ей насчет деньжат, и Эйко сочувственно зацокала языком. Потом, выпятив нижнюю губу, стала наливать себе еще сакэ.

— У кого ни спроси — у всех дела идут из рук вон плохо. Противно даже. Если так и дальше будет, придется расстаться с этой проклятой жизнью, — пробормотала Эйко. — Вот и с Киси Ганом мы решили отравиться в самый разгар невезения. Ну, рассказать, что ли, сэнсэй?

В таких случаях я обычно напускаю на себя равнодушие. Дело в том, что девицы подобного рода имеют привычку лихо привирать, их рассказы о своей жизни на девяносто девять процентов придуманные — смесь вычитанного в дешевых романах и увиденного на экране. Если же сделать вид, что тебе все это совсем не интересно и слушаешь ты просто из вежливости, процент правдивости возрастает, пожалуй, на две трети.

— Я такая: не люблю, чтобы серединка наполовинку, — начала Эйко. — Уж если жареное — так чтобы на зубах хрустело, а соленое — чтоб дух захватывало! А так, размазную всякую — терпеть не могу. Потому я сразу и решила: умрем вместе!

Стараясь сохранять спокойствие, я задал ей вопрос.

— Вон вы о чем? — Эйко как-то странно фыркнула. — Если бы я и в самом деле захотела умереть вместе с ним, я бы не сидела тут перед вами. Да вы не удивляйтесь, сэнсэй! Я умолк и больше не удивлялся.

Вот что рассказала Эйко.

Случилось это пять лет назад, в октябре. У дружка Эйко было прозвище Киси Ган, и служил он коммивояжером в фирме, торговавшей лекарствами от дурных болезней.

Когда я потом спросил у Эйко, знала ли она его настоящее имя, она досадливо пожала плечами и ответила:

— Ведь мы решили покончить с собой, и ни к чему мне было интересоваться такой мелочью, как его имя.

Хороводилась она с Киси Ганом месяцев шесть. Он уверял Эйко, что ему всего двадцать восемь лет. Но, по мнению Эйко, ему было не меньше тридцати двух. Киси Ган был крупным, загорелым мужчиной с суровым, мужественным лицом. Все девицы из заведений в Уракасу отчаянно завидовали Эйко, узнав, что она завела такого дружка. Киси Ган появлялся на ярко-красном мотоцикле, на котором красивыми белыми иероглифами было выведено название его фирмы.

— Мотоцикл всегда так приятно пукал, — мечтательно произнесла Эйко.

Я чуть не прыснул со смеху, но вовремя сделал вид, будто поперхнулся сакэ.

Приезжая в Уракасу, Киси Ган, покончив с делами, шел в одэнъя<sup>3</sup> пить сакэ и направлял посыльного за Эйко. От харчевни до «Соснового домика» всего-то было пять минут ходу, но, по обычаю заведений вроде «Соснового домика», если девицу приглашали в другое место, хозяйке надо было уплатить некоторую сумму — девицы находились на повременной оплате. Популярность приглашенной сразу возрастала, и поэтому сами девицы готовы были платить «неустойку».

Прошло полгода. И вот однажды вечером Киси Ган пожаловал в «Сосновый домик» собственной персоной. Одет он был в ветхое кимоно и в старые сандалии на босу ногу. Сказал Эйко, что приехал автобусом, и вид у него был такой, словно он принимал слабительное неделю подряд.

---

<sup>3</sup> Одэнъя — харчевня, где подают одэн — блюдо из вареного сладкого картофеля и соевой пасты, сдобренных специями.

Они не успели еще опорожнить первую бутылочку саке, как Киси Ган внезапно спросил, согласна ли Эйко умереть вместе с ним.

— Я, как увидела его, сразу же решила: здесь что-то не так! А когда он предложил мне умереть с ним, подумала: э-э, куда загнул, дружочек! — растягивая слова, сказала зашмелевшая Эйко.

Киси Ган растратил пятьсот иен из денег, принадлежавших фирме. У него была семья: жена и трое детей. А с тех пор как он познакомился с Эйко, денег и вовсе не хватало. Потихоньку он начал запускать лапу в кассу фирмы — сначала прикарманывая по пять-десять иен, а по мере того как его любовь к Эйко становилась все горячее, осмелел и брал по пятнадцать, а то и по двадцать иен каждый раз, считая, что так и должен поступать настоящий мужчина.

Когда сумма растраты достигла пятисот иен, он наконец попался, и хозяин потребовал немедленно вернуть деньги.

— Не вернешь, подам в суд, — медовым голосом предупредил он Киси Гана, угрожающе поводя густыми и черными, как у юноши, бровями.

Хозяину было уже за семьдесят, но выглядел он значительно моложе.

Киси Ган стал метаться по знакомым, но вскоре понял, что больше двухсот иен ему не собрать, а хозяин требовал вернуть всю сумму сразу. Киси Ган не мог признаться во всем жене и уверял, что не в силах расстаться с Эйко. Вот он и предложил ей вместе покончить жизнь самоубийством — другого, мол, выхода нет.

— Вижу, куда ты гнешь, грязный тип, смекнула я. Вы поняли, сэнсэй? — возбужденно воскликнула Эйко. — Неужто вам псевдомек? Он хотел, чтобы я своим телом заработала для него недостающие деньги. Решил: умирать, мол, мне неохота и я хоть паизнанку вывернусь, а триста иен для него добуду. Но не на такую напал!

В ту пору у самой Эйко дела шли неважно. Она пожаловалась Киси Гану, что денег у нее ни гроша, что она порядочно задолжала в галантерейной лавке и в общественных банях, и сказала, что согласна вместе с Киси Ганом покончить жизнь самоубийством, тем более что среди ее подруг это считается высшим проявлением взаимной любви и каждая из них хотела бы хоть раз в жизни испытать нечто подобное. Тогда Киси Ган, словно окончательно решившись на что-

то, сказал, что принесет сильно действующее снотворное, они выпьют его и уснут вечным сном. «Приеду послезавтра вечером, смотри не раздумай», — предупредил он. Эйко ответила, что у нее есть немецкое снотворное, и пусть он принесет только свою долю. «Откуда оно у тебя?» — спросил Киси Ган. Эйко ответила, что лекарство осталось от ее подруги, которая недавно отравилась, что название его она не помнит, но знает: для того чтобы умереть, и одной щепотки достаточно. На том они расстались.

— Наверное, не придет, решила я, но на всякий случай спадобье приготовила, — продолжала свой рассказ Эйко. — Наша хозяйка обычно принимала от головной боли какой-то порпон. Порпон — белый-белый и блестит, как битое стекло, а если в него добавить чуть-чуть муки, он становится похож на снотворное. Я так и сделала.

Короче говоря, Эйко замыслила ложное самоубийство. Правда, она не была уверена, что Киси Ган придет, но он появился точно, как обещал. Показал белое нательное кимоно из хлопчатки и такие же кальсоны — мол, одежда, предназначенная для влюбленного, который решил вместе со своей подругой уйти в мир иной. Потом-то Эйко узнала, что такие кимоно и кальсоны можно приобрести в любой лавке за полторы иены.

— Он заявился около девяти вечера. Дела у меня по-прежнему шли неважно, даже одного го сакэ не было про запас, чтобы на стол поставить, — продолжала Эйко. — Когда я сказала об этом Киси Гану, он ответил, что сегодня наша последняя ночь, и вытащил целых три бумажки по одной иене. Вот это да, подумала я, воистину в большой реке вода не иссякнет.

Эйко тут же отправилась за выпивкой и закуской. На иену и двадцать сэн<sup>4</sup> купила двухлитровую бутылку сакэ и на тридцать сэн — вяленой рыбы и цукудани<sup>5</sup>. Остальное отдала хозяйке заведения. Та долго благодарила Киси Гана, называя его богом изобилия и спасителем.

— Потом мы начали пить, но странно — хмель поначалу не брал нас — должно быть, потому что мы собирались умереть этой ночью, — икнув, продолжала Эйко. — Мы рассказывали друг другу о родных и близких, сетовали на то, что ока-

<sup>4</sup> Сэна — в довоенной Японии монета достоинством в одну сотую иены, в настоящее время изъята из обращения.

<sup>5</sup> Цукудани — мелкая рыбешка, проваренная в сое с сахаром.

зались невезучими от рождения. Наконец совсем опьянели, обнялись и расплакались.

В одиннадцать часов заведение закрылось. Гости ушли, хозяйка с мужем легли спать, уснули и все девушки. Тогда-то Киси Ган сказал: «Пора». Эйко не могла, да и не хотела унять поток сладостных слез, но Киси Ган проявил свойственную мужчине решительность и вытащил принесенное с собой снотворное. Эйко ничего не оставалось делать, как вынуть из сумочки свое. В этот момент она со страхом подумала: а вдруг Киси Ган потребует показать ему лекарство — ведь знает в этом толк — и обман раскроется? Но Киси Ган молча налил воды в чашку, проглотил снотворное и запил. «Я тоже не трусиха», — подумала Эйко, наполнила водой ту же чашку и проглотила свое снадобье.

— Потом мы легли на постель, крепко обнялись и горько заплакали, — продолжала Эйко. — О том, что было дальше, можно не рассказывать. Сами понимаете: возлюбленные, решившие умереть, стараются натешиться перед смертью. Так было и с нами.

Не помню, когда мы уснули. Только среди ночи меня разбудили странные звуки. Киси Ган лежал на постели, широко раскинув ноги, и непрерывно икал. Я вскочила с постели и, как была босиком, помчалась в полицейский участок.

Вслушав сбивчивый рассказ Эйко, молодой полицейский всполошился, разбудил своего напарника, спешно позвонил в отделение и помчался за врачом. Когда врач прибыл в участок, Эйко корчилась от боли, раздирая себе грудь ногтями. Ее заставили выпить какую-то мутно-белую жидкость и сделали промывание желудка. От страха, что она вот-вот умрет, Эйко даже укусила врача за руку.

А тем временем другой полицейский направился в «Сосновый домик». Его обитатели мирно спали, ничего не ведая о том, что случилось. Поднятые на ноги полицейским хозяйка и девицы перепугались донельзя и помчались в комнату, где лежал Киси Ган. Их взору открылась пустая постель. Киси Ган исчез. Все решили, что, будучи не в силах терпеть боль, он выбрался наружу. Разбудили пожарных, зажгли фонари и начали поиски. Вскоре на берегу, близ моста, были найдены сандалии Киси Гана. На воду было спущено несколько плоскодонок, но найти тело Киси Гана так и не удалось.

Обо всем этом Эйко узнала позже, потому что из полицейского участка ее сразу отвезли в больницу.

Полиция связалась по телефону с фирмой, где служил Киси Ган, и там ответили, что вот уже несколько дней, как он не работает. С прежнего места жительства сообщили, что он недавно переехал, а куда — неизвестно.

Во время допроса в полиции Эйко сказала, что ее вынудили пойти на самоубийство.

— Видите, сэнсэй, как я умно поступила, — бахвалилась Эйко. — Раз я тоже приняла яд, не подозревая об этом, значит, моей вины в смерти Киси Гана нет.

Эйко продержали две недели в камере предварительного заключения и выпустили. Случай этот произошел в провинции, где ко всему относились спустя рукава. Врач, конечно, не удосужился подвергнуть анализу то, что выкачал у Эйко из желудка. Труп Киси Гана так и не был обнаружен — на том дело и кончилось. Осталось только воспоминание о «двойном самоубийстве» в «Сосновом домике», и надо сказать, что благодаря этому Эйко приобрела в Уракасу особую популярность. Но популярность, увы, как и все прочее, переходящая, и спустя пару месяцев все уже и думать забыли о случившемся в «Сосновом домике».

— Это бы еще ничего, но послушайте, сэнсэй, что было дальше, — продолжала Эйко.

Я отхлебнул саке.

— Только не делайте такое безразличное лицо. — Эйко изрядно глотнула из своей чашечки, закашлялась, трижды чихнула, вытерла листиком туалетной бумаги выступившие на глазах слезы и воскликнула: — Черт подери! Обидно до слез! Представляете, сэнсэй, этот Киси Ган вовсе не умер!

Я и сам начал догадываться, что Киси Ган остался в живых, но свое предположение, сами понимаете, вслух не высказывал.

Спустя примерно год в харчевню, что поблизости от «Соснового домика», зашел мужчина и заказал что-нибудь выпить. Одет он был в сильно поношенный костюм, в руке — выдавший виды небольшой чемодан. Дело было вечером, за столом сидели несколько рыбаков и владельцев лодок, но никто не обратил внимания на вновь вошедшего. Здесь вообще не было принято пялить глаза на чужаков, за исключением тех случаев, когда можно было чем-нибудь поживиться. Мужчина сидел, надвинув козырек кепки на глаза, словно старался скрыть от всех свое лицо. Порядочно выпив, он обратился к сидевшему напротив лодочнику:

— Послушай, говорят, в прошлом году здесь произошло самоубийство.

Лодочник покачал головой, словно хотел сказать: может, что-нибудь в этом роде и было, да я забыл.

— Как же ты не знаешь? Женщина тут была из «Соснового домика». То ли Оэй, то ли Эйко звали. Она еще вместе с продавцом лекарств покончила жизнь самоубийством,— настаивал незнакомец.

Один из рыбаков внимательно прислушался к разговору и стал потихоньку разглядывать говорившего. Потом, едва сдержав возглас удивления, незаметно выскользнул наружу и опростетью кинулся в полицейский участок. Полицейский сразу же поспешил в харчевню.

— Признавайся, ты — Киси Ган! И не пытайся врать, вот свидетель! — сказал полицейский, стукнув мужчину по плечу.

— Верно,— прошептал мужчина, опустив голову.— Я и есть тот самый Киси Ган.

Киси Гана препроводили в полицию, туда же вызвали и Эйко, которая к тому времени перешла в заведение «Киёкава».

Увидев Киси Гана, Эйко остолбенела.

— Так ты, оказывается, жив?! — вскрикнула она.

— Вроде бы и ты не мертвая,— усмехнулся Киси Ган.

На первом же допросе Киси Ган во всем сознался. У присутствовавшей при этом Эйко от возмущения кровь бросилась в голову. Она вцепилась в Киси Гана, царапала ему лицо, пинала его ногами. И даже укусила полицейского, который пытался оторвать ее от Киси Гана.

— Не при вас будет сказано, сэнсэй,— продолжала Эйко.— Но все мужчины, по-моему, бездушные животные и мошенники. И полицейский тоже, поэтому я его и укусила.

Я спросил у Эйко, что ее, собственно, так вывело из себя.

— Чего же тут непонятного? — удивилась Эйко.— Киси Ган уверял, что у него очень сильное снотворное, а сам выпил обыкновенной питьевой соды! Представляете, как он меня одурачил! — Эйко так распалилась, будто все это произошло не год назад, а только вчера.— Он просто насмеялся надо мной. Как же мне не злиться, черт подери!

С трудом подавив улыбку, я задал ей вопрос.

— Как вы можете сравнивать?! — возмутилась Эйко.—

Ведь по всему получается, что я в самом деле выпила яд. Мне доктор оказывал первую помощь, и кишку в рот совали. Если бы это было неправда, меня обвинили бы в мошенничестве. А этот негодяй Киси Ган, говорят, из участка был отправлен в отделение, а оттуда — в полицейское управление. Сказали, что его в тюрьму засадят, да еще заставят штраф уплатить. Будет знать, как честных людей обманывать.

С сожалением взглянув на опустевшую бутылку, Эйко поднялась и, самодовольно напевая себе под нос, покинула мое жилище.

## СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы Сюгоро Ямамото. <i>Т. Григорьева</i>	5
Ночь в камышах . . . . .	15
Бежит по нашей улице трамвай . . . . .	27
Дом с бассейном . . . . .	38
Уточка . . . . .	57
Мандариновое дерево . . . . .	64
Как говорил Бисмарк . . . . .	70
Белые люди . . . . .	92
Чем жив человек? . . . . .	99
Увеселительное заведение . . . . .	103
Как я купил голубую плоскодонку . . . . .	110
Волосатый краб . . . . .	117
Диалог о песке . . . . .	124
Песок и гранат . . . . .	128
Уродина . . . . .	135
Засохшее дерево . . . . .	153
Наивная жена . . . . .	160
Отец . . . . .	166
Тяжкое дело — травиться! . . . . .	173

*Сюгоро Ямамото*

РАССКАЗЫ

Редактор *Н. Я. Северина*  
Младший редактор *Г. А. Бурова*  
Художник *Н. А. Абакумов*  
Художественный редактор *Э. Л. Эрман*  
Технический редактор *Л. Ш. Береславская*  
Корректор *В. Н. Багрова*

ИБ № 13764

Слано в набор 16.02.79. Подписано к печати 18.09.79. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 10,7. Уч.-изд. л. 9,52. Тираж 75 000 экз. Зак. № 3651, Цена 1 руб.

Главная редакция восточной литературы  
издательства «Наука»  
Москва К-45, ул. Жданова 12/1  
Ордена Ленина типография  
«Красный пролетарий»  
Москва, Краснопролетарская, 16